

ЖАШЬЯ

ЯНАТЖАРА

Выражение *tour de force* словно специально придумано для этого
невероятно смелого романа. **KIRKUS REVIEWS**

МАЛЕНЬКИЙ

CoRpus

КРОВЬ

18+

Annotation

Университетские хроники, древнегреческая трагедия, воспитательный роман, скроенный по образцу толстых романов XIX века, страшная сказка на ночь – к роману американской писательницы Ханьи Янагихары подойдет любое из этих определений, но это тот случай, когда для каждого читателя книга становится уникальной, потому что ее не просто читаешь, а проживаешь в режиме реального времени. Для кого-то этот роман станет историей о дружбе, которая подчас сильнее и крепче любви, для кого-то – книгой, о которой боишься вспоминать и которая в книжном шкафу прячется, как чудище под кроватью, а для кого-то «Маленькая жизнь» станет повестью о жизни, о любой жизни, которая достойна того, чтобы ее рассказали по-настоящему хотя бы одному человеку.

Содержит нецензурную брань.

Ханья Янагихара
Маленькая жизнь

* * *

Моему другу Джареду Холту – с любовью

В одиннадцатой квартире стенной шкаф был всего один, зато за раздвижной стеклянной дверью обнаружился балкончик, и с этого балкончика он видел мужчину, который курил на улице в одной футболке и шортах, хотя стоял октябрь. Виллем помахал ему, но мужчина не ответил на приветствие.

В спальне Джуд открывал и закрывал дверь-гармошку стенного шкафа.

– Здесь только один шкаф, – сказал он.

– Ничего, – ответил Виллем. – Мне все равно нечего туда класть.

– Мне тоже.

Они улыбнулись друг другу.

Агентша, сдававшая квартиры в этом здании, вошла следом за ними.

– Мы согласны, – сказал ей Джуд.

Но когда они вернулись в офис агентства, выяснилось, что квартиру им не сдадут.

– Почему? – спросил Джуд.

– Ваш заработок не покрывает арендную плату за полгода, и сбережений у вас нет, – сказала вдруг охладевшая к ним агентша.

Она проверила их кредитную историю и банковские счета и наконец сообразила, что неспроста два молодых человека за двадцать, явно не пара, пытаются снять квартиру с одной спальней на скучном (хоть и все равно дорогом) отрезке Двадцать пятой улицы.

– Может кто-нибудь подписать договор как ваш поручитель? Начальник, родители?

– Наши родители умерли, – быстро ответил Виллем.

Агентша вздохнула.

– Тогда советую вам умерить аппетиты. Ни в одном приличном доме не сдадут квартиру съемщикам с вашим финансовым положением.

Она решительно встала и многозначительно посмотрела на дверь.

Однако, рассказывая об этом Джей-Би и Малкольму, они представили все в комическом свете: якобы дверь квартиры была вся загажена мышиным пометом, мужик напротив чуть ли трусы перед ними не снял, а агентша обозлилась оттого, что Виллем не отвечал на ее авансы.

– Какой идиот захочет жить на углу Двадцать пятой и Второй? – спросил Джей-Би.

Они сидели в «Фо Вьет Хьонг» в Чайнатауне, где собирались на ужин дважды в месяц. «Фо Вьет Хьонг» был типичной тошнилровкой – фо здесь был странно приторным, сок лайма отдавал мылом, и по крайней мере одному из них непременно становилось плохо после этих ужинов; но они все равно приходили, по привычке и из-за дешевизны. Здесь давали миску супа или сэндвич за пять долларов, а основное блюдо стоило от восьми до десяти, но порции были огромные, так что можно было половину доесть назавтра или в тот же день перед сном. Один Малкольм никогда не съедал свое блюдо целиком и ничего не брал с собой – закончив есть, он ставил свою тарелку в центр стола, чтобы вечно голодные Виллем и Джей-Би могли доесть оставшееся.

– Ясное дело, мы не *хотим* жить на углу Двадцать пятой и Второй, Джей-Би, – кротко сказал Виллем. – Но выбирать не приходится. Ты же знаешь, у нас нет денег.

– Я не понимаю, почему нельзя все оставить как есть, – сказал Малкольм, гоняя по тарелке грибы и тофу под пристальным взглядом Виллема и Джей-Би, – он всегда заказывал одно и то же: вешенки с жареным тофу в густом темном соусе.

– Ты же знаешь, я не могу, – сказал Виллем. За последние три месяца он объяснял это Малкольму раз десять. – Меррит съезжается со своим бойфрендом, так что мне придется свалить.

– Но почему именно тебе?

– Потому что квартиру снимает Меррит! – сказал Джей-Би.

– А, – сказал Малкольм и притих. Он часто забывал то, что казалось ему несущественным, но зато не обижался, когда окружающие выходили из себя от его забывчивости. – Понятно. – Он поставил грибы в центр стола. – Но ты-то, Джуд...

– Я не могу оставаться у вас вечно, Малкольм. Твои родители рано или поздно меня просто убьют.

– Мои родители тебя обожают.

– Это приятно слышать, но если я скоро не съеду, они меня разлюбят.

Малкольм единственный из четверых до сих пор жил дома, и, как любил говорить Джей-Би, будь у него такой дом, он бы тоже там жил. Не то чтобы это жилище отличалось особой роскошью – оно было запущенным и скрипучим, а Виллем однажды загнал себе занозу, просто проведя рукой по перилам, – но это был большой, настоящий верхне-истсайдский особняк. Сестра Малкольма Флора, на три года его старше, недавно съехала из полуподвальных комнат, и Джуд временно там обосновался. Родители Малкольма собирались превратить эти комнаты в офис литературного агентства, принадлежащего матери, и это означало, что Джуду (которому все равно трудно было преодолевать лестницу) придется найти себе что-то другое.

Само собой разумеется, что они поселятся вместе с Виллемом, они и в колледже жили в одной комнате. На первом курсе они жили вместе все вчетвером: в их распоряжении была гостиная с бетонными стенами, где стояли письменные столы, стулья и диван, привезенный тетками Джей-Би на трейлере, а также крошечная спальня с парой двухэтажных кроватей. Комнатка была такой узкой, что Малкольм и Джуд, занимавшие нижние койки, могли бы взяться за руки, не вставая. Над Малкольмом спал Джей-Би, над Джудом – Виллем.

– Белые против черных, – говорил Джей-Би.

– Джуд не белый, – возражал Виллем.

– А я не черный, – добавлял Малкольм, не столько всерьез, сколько чтобы позлить Джей-Би.

– Короче, – сказал Джей-Би, придвигая к себе вилкой тарелку с грибами, – я бы пригласил вас пожить со мной, но вы там охренеете.

Джей-Би жил в огромном грязном лофте в Маленькой Италии, где странные коридоры вели в бесполезные тупики причудливой формы или в недокомнаты с недостроенными гипсокартонными стенами. Это жилище принадлежало еще одному их однокашнику. Эзра был художником, причем плохим, но зачем ему стараться, говорил Джей-Би, ему ведь никогда в жизни не придется работать. И ведь не только ему, но и его детям, и детям детей: они будут плодить негодные, непродаваемые, никчемные произведения искусства, а себе покупать лучшие картины, какие только душа пожелает; они смогут приобретать непрактичные огромные лофты в центре Манхэттена и как угодно уродовать их своими архитектурными потугами, а устав от жизни вольных художников – Джей-Би был уверен, что именно так и случится с Эзрой, – просто-напросто пойдут к своему банкиру и получают огромную кучу денег, им четверым таких деньжищ в жизни не видать (ну разве только Малкольму). Пока что, однако, знакомство с Эзрой приносило много пользы: не только потому, что он позволял

Джей-Би и другим бывшим соученикам жить у себя – в любое время в разных концах лофта гнездились четыре-пять человек, – но и потому, что он был человек благодушный и щедрый от природы и любил закатывать грандиозные вечеринки с огромным количеством бесплатной еды, алкоголя и наркотиков.

– Погодите-ка, – сказал Джей-Би, опустив палочки. – Я вдруг сообразил: у нас в журнале одна девица сдает квартиру своей тетки. Практически на краю Чайнатауна.

– Почему? – спросил Виллем.

– Может, даже задаром – она не знает, сколько за нее просить. Но хочет, чтобы там жили знакомые.

– А ты можешь замолвить за нас словечко?

– Лучше того – я вас познакомлю! Можете прийти завтра ко мне на работу?

Джуд вздохнул:

– Я не смогу отлучиться. – Он посмотрел на Виллема.

– Не волнуйся, я смогу. Во сколько?

– В обеденный перерыв, наверное. В час?

– Договорились.

Виллем все еще был голоден, но дал Джей-Би доесть грибы. Потом они немного еще подождали: иногда Малкольм заказывал мороженое из джекфрута (единственное блюдо в меню, которое всегда удавалось), откусывал от него раза два, потом откладывал, и Виллем с Джей-Би его приканчивали. Но на этот раз Малкольм не заказал мороженого, так что они попросили счет, изучили его и разделили до последнего доллара.

На следующий день Виллем пришел на работу к Джей-Би. Джей-Би работал в Сохо, в приемной маленького, но влиятельного журнала, который писал об экспериментальном искусстве Нью-Йорка. Это был стратегический выбор: план Джей-Би, как он объяснил однажды Виллему, заключался в том, чтобы завязать дружбу с редактором и стать героем статьи. По его расчету, на это должно было уйти полгода, то есть теперь оставалось еще три месяца.

На работе с лица Джей-Би не сходило выражение легкого недоумения – оттого, что ему вообще приходится работать, и оттого, что никто до сих пор не разглядел в нем уникальный талант. Свои обязанности он выполнял из рук вон плохо. Хотя телефоны не замолкали, он редко брал трубку; когда кто-то из друзей пытался ему дозвониться (мобильная связь в здании была ненадежной), приходилось следовать специальному коду: два звонка, отбой, еще один. И даже в этом случае он мог не ответить – его руки под столом были заняты расчесыванием и плетением прядей волос, которые он доставал из черного мусорного мешка, стоявшего у ног.

Джей-Би называл это «мой волосяной период». Недавно он решил сделать перерыв в живописи и переключиться на создание композиций из черных волос. Каждому из друзей пришлось пережить утомительный уикенд, таскаясь за Джей-Би из парикмахерской в парикмахерскую в Квинсе, Бруклине, Бронксе и на Манхэттене, околачиваться снаружи, пока Джей-Би ходил спрашивать владельцев, нет ли для него обрезков, а потом тащить за ним по улицам распухающий по пути мешок с волосами. Среди его ранних вещей была «Булава»: теннисный мячик, который он побрил, разрезал пополам и заполнил песком, а затем намазал клеем и возил по ковру волос туда-сюда, так что обрезки волос качались, будто подводные водоросли; и серия «Насущное» – идея была в том, чтобы покрывать волосами различные

бытовые предметы: степлер, лопатку, чашку. Сейчас он работал над масштабным проектом, который отказывался с ними обсуждать, но из отдельных намеков было ясно, что проект предполагает расчесывание и сплетение огромного количества прядей, так что на выходе должна получиться бесконечная веревка из курчавых черных волос. В прошлую пятницу он заманил их к себе обещанием пиццы и пива, чтобы они помогли ему плести косички, а после долгих часов нудной работы стало ясно, что ни пиццы, ни пива не предвидится, и они ушли, разочарованные, но не слишком удивленные.

Им всем до смерти надоел волосяной проект, хотя Джуд – единственный из них – считал, что вещи получаются милые и что когда-нибудь их сочтут значительными. В благодарность за это Джей-Би подарил Джуду щетку для волос, всю покрытую волосами, но потом забрал ее обратно, потому что ему показалось, будто друг отца Эзры хочет ее купить. (Тот щетку не купил, но Джей-Би так и не вернул ее Джуду.) Волосяной проект оказался сложным во многих отношениях: в другой вечер, когда Джей-Би опять каким-то чудом уговорил всех троих прийти в Маленькую Италию чесать волосы, Малкольм заметил, что они воняют. Так и было: запах был не особенно противный, просто резкий металлический душок невымытой головы. Но Джей-Би закатил форменную истерику, обозвал Малкольма негром-расистом, дядей Томом, предателем своего народа, и Малкольм, который сердился крайне редко, но уж если сердился, то как раз на подобные обвинения, встал, вылил остатки вина в ближайший мешок с волосами и ушел. Джуд по мере сил постарался его догнать, а Виллем остался успокаивать Джей-Би. Несмотря на то что эти двое на другой день помирились, Виллем и Джуд продолжали злиться на Малкольма (хотя понимали, что это несправедливо) и в следующий уикенд опять приехали в Квинс и ходили по парикмахерским, пытаясь собрать мешок волос взамен испорченного.

– Как жизнь на черной планете? – спросил Виллем у Джей-Би.

– Черна, – ответил Джей-Би, расплетая очередную косичку и засовывая волосы обратно в мешок. – Пошли, я сказал Аннике, что мы будем на месте в час тридцать. – Телефон на его столе снова зазвонил.

– Не хочешь взять трубку?

– Перезвонят.

Всю дорогу Джей-Би жаловался на жизнь. Пока что он направлял свои чары на старшего редактора по имени Дин, которого они между собой называли ДиЭн. Как-то они втроем были на вечеринке в «Дакоте», в квартире, принадлежавшей родителям одного редактора, где одна увешанная картинами и фотографиями комната плавно перетекала в другую. Пока Джей-Би болтал на кухне с коллегами, Малкольм и Виллем прошли по квартире (а где в тот вечер был Джуд? Работал, должно быть), посмотрели висевшего в гостевой спальне Буртинского, увидели знаменитые водонапорные башни Бехеров, которые висели над столом в четыре ряда по пять снимков; огромного Гурски, висящего над низким стеллажом в библиотеке, и, наконец, в хозяйской спальне обнаружили целую стену Дианы Арбус, причем фотографии были развешены так плотно, что оставалось всего несколько сантиметров свободной стены сверху и снизу. Они стояли, восхищаясь изображением двух хорошеньких девочек с синдромом Дауна, позирующих перед камерой в слишком легких, слишком детских купальниках, когда к ним подошел Дин. Это был высокий мужчина, но лицо у него было маленькое, крысиное, рябое и оттого не внушало доверия.

Они представились и объяснили, что они друзья Джей-Би. Дин сказал, что он старший обозреватель и отвечает за все новинки.

– А, – сказал Виллем, стараясь не встречаться глазами с Малкольмом, чтобы тот не рассмеялся. Джей-Би говорил им, что его потенциальная мишень – старший обозреватель, наверняка это он.

– Вы когда-нибудь видели что-нибудь подобное? – спросил он, указывая на работы Арбус.

– Никогда, – ответил Виллем. – Мне страшно нравится Диана Арбус.

Дин застыл, казалось, его мелкие черты собрались в горстку в центре острого личика.

– ДиЭн.

– Что?

– ДиЭн. Ее имя произносится ДиЭн.

Они едва смогли сдержать смех, пока не выбежали из комнаты.

– ДиЭн! – воскликнул позже Джей-Би, когда они пересказали ему этот эпизод. – О боже! Вот же надутый говнюк.

– Но это *твой* надутый говнюк, – сказал Джуд. С тех пор они называли Дина ДиЭн.

Увы, несмотря на все усилия Джей-Би, его цель – стать героем статьи – была так же далека, как и несколько месяцев назад. Джей-Би даже позволил ДиЭну отсосать у него в парилке спортзала, и все без толку. Каждый день Джей-Би находил повод зайти в редакторский отдел и посмотреть на доску, где вывешивались идеи и планы на ближайшие три месяца, записанные на белых карточках, каждый день он всматривался в секцию, посвященную перспективным молодым художникам, в поисках своего имени, и каждый раз его ждало разочарование. Вместо себя он видел имена всяких бездарей и выскочек, нужных людей или знакомых нужных людей.

– Если увижу там Эзру, повешусь, – говорил Джей-Би, на что остальные отвечали «Еще не хватало, Джей-Би», или «Не волнуйся, Джей-Би, рано или поздно все получится», или «На фига тебе это надо, Джей-Би?», на что Джей-Би отвечал, соответственно, «Думаешь?», или «Что-то, блядь, не похоже», или, «Да я уже три месяца своей блядской жизни угрохал на эту херню, и если меня не будет на этой блядской доске, то опять все псу под хвост, как всегда». «Как всегда» означало магистратуру, возвращение в Нью-Йорк, волосяную серию или жизнь в целом, в зависимости от того, насколько мрачно он был настроен.

Джей-Би все еще продолжал жаловаться, когда они свернули на Лиспенард-стрит. Виллем жил в Нью-Йорке недавно – всего год – и никогда не слышал об этой улице, скорее напоминавшей переулок, в два квартала длиной и в одном квартале от Канал-стрит, однако Джей-Би, выросший в Бруклине, тоже о ней не слышал.

Они нашли нужный дом и позвонили в квартиру 5С. Ответила девушка, голос ее в домофоне звучал прерывисто и слабо, она впустила их в подъезд. Внутри их встретил узкий вестибюль с высоким потолком, стены были выкрашены блестящей, темной, какашечно-коричневой краской – им показалось, будто они на дне колодца.

Девушка ждала их у дверей квартиры.

– Привет, Джей-Би, – сказала она.

Потом взглянула на Виллема и покраснела.

– Анника, это мой друг Виллем, – сказал Джей-Би. – Виллем, Анника работает в отделе дизайна. Она классная.

Аника протянула Виллему руку и пробормотала «очень приятно», глядя в пол. Джей-Би пнул Виллема по ноге и ухмыльнулся. Виллем не отреагировал.

– Очень приятно, – сказал он.

– В общем, это квартира? Моей тети? Она прожила здесь пятьдесят лет, но теперь переехала в дом престарелых? – Анника говорила очень быстро, она явно решила, что к Виллему надо относиться как к солнечному затмению и ни в коем случае не смотреть прямо на него. Она тараторила все быстрее и быстрее: тетя всегда говорила, что район очень изменился, она и не слыхала про Лиспенард-стрит, пока не переехала на Манхэттен, как жаль, что квартиру так и не покрасили, но тетя выехала только что, буквально только что, они только и успели, что сделать уборку в прошлые выходные. Она смотрела куда угодно, лишь бы не на Виллема – на потолок (штампованная жестяная плитка), на пол (хоть и растрескавшийся, а паркет), на стены (на которых когда-то висевшие тут картины оставили призрачные следы), – пока Виллем не был вынужден ее вежливо прервать и спросить, нельзя ли взглянуть на остальные помещения.

– Да, конечно! – отозвалась она. – Я тогда вас оставлю. – Однако она продолжала ходить за ними по пятам, торопливо рассказывая Джей-Би про какого-то Джаспера, и как он использует «Арчер» буквально для всего, и разве Джей-Би не кажется, что этот шрифт слишком круглый и вычурный для основного текста? Теперь, когда Виллем повернулся к ним спиной, она не отрывала от него глаз, и речь ее становилась все более и более сбивчивой.

Джей-Би смотрел, как Анника смотрит на Виллема. Он никогда не видел, чтоб она так нервничала, не видел у нее этих девичьих ужимок (обычно она была молчалива и мрачновата, в офисе ее побаивались, особенно после того, как она соорудила у себя над столом сложную структуру в форме сердца из лезвий X-АСТО), но он видел многих женщин, которые вели себя точно так же в присутствии Виллема. Собственно, они все так себя вели. Их друг Лайонел говорил, что, видимо, Виллем в прошлой жизни был валерьянкой, поэтому к нему до сих пор липнут киски. Но в большинстве случаев (хотя и не всегда) Виллем, казалось, понятия не имел, что привлекает столько внимания. Джей-Би как-то спросил у Малкольма, как так получается, и Малкольм ответил, что Виллем просто ничего не замечает. Джей-Би только застонал в ответ, но про себя подумал: раз уж Малкольм, самый ненаблюдательный человек на свете, и то заметил, как женщины реагируют на Виллема, то уж Виллем точно не мог не заметить. Впрочем, позже Джуд предложил другое объяснение: Виллем намеренно не обращает внимания на реакцию женщин, чтобы окружающие мужчины не чувствовали угрозы с его стороны. Это было похоже на правду: Виллема все любили, и он сам старался никого не обижать, так что, возможно, он подсознательно изображал неведение. И все равно это было захватывающее зрелище, и они втроем всегда с удовольствием его наблюдали и потом с удовольствием подшучивали над Виллемом, хотя тот обычно только улыбался и отмалчивался.

– А лифт здесь исправный? – спросил Виллем, внезапно повернувшись.

– Что? – оторопела Анника. – А, да, он довольно надежный. – Ее бледные губы сложились в тонкую улыбку, которая, как догадался Джей-Би – и живот его свело судорогой от неловкости за нее, – должна была выражать кокетство. Ох, Анника, подумал он.

– А что ты собираешься втаскивать в тетину квартиру?

– Нашего друга, – ответил он, прежде чем Виллем успел открыть рот. – Ему трудно подниматься по лестницам, поэтому важно, чтобы работал лифт.

– А, – сказала она и снова покраснела. – Прости. Да, лифт работает.

Квартира наводила уныние. Прихожая, немногим больше придверного коврика, сразу раздваивалась: направо – кухня (душный и липкий куб), налево – так называемая столовая, в которой можно было поставить разве что складной столик. Половина стены отделяла это

пространство от гостиной, где четыре зарешеченных окна выходили на замусоренную улицу, в конце небольшого коридора справа находилась ванная комната с мутными белыми бра и щербатой ванной, и напротив – спальня с одним окном, длинная, но узкая. Там стояли два деревянных каркаса кроватей, один напротив другого, каждый у своей стены. На одном лежал матрас, громоздкий и бесформенный, тяжелый, как дохлая лошадь.

– На матрасе никто не спал, – сообщила Анника. Дальше последовала длинная историю о том, как она сама собиралась сюда въехать и уже купила матрас, но так им и не воспользовалась, потому что вместо этого съехала со своим другом Клементом, и он не бойфренд, а просто друг, господи, что же она за дура, зачем она это сказала. В общем, если Виллему понравится квартира, матрас он может получить бесплатно.

Виллем поблагодарил.

– Что думаешь, Джей-Би? – спросил он.

Что он думает? Он думает, что это просто вонючая дыра. Конечно, он тоже живет в дыре, но он сам так решил, поскольку его дыра бесплатная и деньги, которые уходили бы на аренду, можно тратить на краски, материалы и дурь и еще иногда ездить на такси. Но если бы Эзра надумал брать с него деньги, он бы тут же слинял. Может, у него не такая богатая семья, как у Эзры или Малкольма, но они точно не позволили бы ему выбрасывать деньги на какую-то лачугу. Они бы нашли ему что-то получше или добавляли бы немного каждый месяц, чтобы он жил по-человечески. Но у Виллема и Джуда нет выбора: им приходится пробиваться самим, у них нет денег, и они обречены на жизнь в дыре. А раз так, то эта дыра не хуже любой другой – дешевая, близко к центру, и потенциальная хозяйка уже втрескалась в 50 % потенциальных жильцов.

Так что он сказал Виллему: «По-моему, то что надо», – и Виллем согласился. Анника испустила восторженный вопль. Еще немного сумбурных обсуждений, и все было решено: у Анники появились жильцы, у Виллема и Джуда – крыша над головой, а Джей-Би тут же напомнил Виллему, что у него обеденный перерыв и Виллем должен накормить его лапшой.

Джей-Би не был склонен к рефлексии, но в воскресенье в метро, по дороге к матери, он не удержался и поздравил себя со своим везением; он даже испытал нечто напоминающее благодарность: как хорошо, что у него именно такая жизнь и именно такая семья.

Его отец, эмигрировавший в Нью-Йорк с Гаити, умер, когда Джей-Би было три года, и хотя Джей-Би нравилось думать, что он помнит его лицо – доброе, ласковое, с тонкой полоской усов и щеками, которые округлялись, будто сливы, когда он улыбался, – он не знал, помнит ли его на самом деле или просто слишком долго разглядывал фотографию, стоящую на мамином прикроватном столике. В сущности, это была единственная печаль его детства, и та скорее выученная: он рос без отца и знал, что осиротевший ребенок должен скорбеть об утрате. Но по-настоящему он никогда не испытывал этой тоски. После смерти отца мать, гаитянская американка во втором поколении, получила докторскую степень в области образования, одновременно работая учителем в бесплатной школе по соседству, которая была сочтена недостойной Джей-Би. К тому времени, как он стал учиться – по стипендии – в старших классах дорогой частной школы, почти в часе езды от их дома в Бруклине, она уже была директором другой школы на Манхэттене, со специальной программой, и одновременно адъюнкт-профессором в Бруклинском колледже. Про ее новаторские методики преподавания написали статью в «Нью-Йорк таймс», и хотя Джей-Би никогда не признался бы в этом друзьям, он гордился ею.

Пока он рос, она была вечно занята, но он никогда не чувствовал недостатка внимания, не думал, что она любит своих учеников больше, чем его. Дома была бабушка, которая готовила ему все, что он пожелает, пела ему песни по-французски и каждый божий день повторяла, что он сокровище, гений, главный мужчина в ее жизни. И еще у него были тети – сестра матери, следователь в манхэттенской полиции, и ее девушка, фармацевт, тоже американка во втором поколении (только не с Гаити, а из Пуэрто-Рико); у них не было детей, и они обе относились к нему как к сыну. Сестра матери занималась спортом и научила его ловить и бросать мяч (даже тогда он мало этим интересовался, но позже это оказалось полезным социальным навыком), а ее девушка увлекалась искусством: одно из его самых ранних воспоминаний – как она привела его в Музей современного искусства и он, ошарашен от восторга, не сводит глаз с картины «Один: номер 31, 1950» и почти не слышит ее объяснений о Поллоке и создании полотна.

В старших классах ему пришлось слегка перепридумать собственную биографию, чтобы выделиться среди сверстников. Особенно ему нравилось пробуждать неловкость в богатых белых одноклассниках, несколько сгущая краски: вроде как он обычный черный подросток-безотцовщина, у которого мать пошла учиться только после его рождения (он забывал добавить, что это была не школа, а магистратура), а тетка работает по ночам (опять же все думали, что она проститутка, а не полицейский). Его любимая семейная фотография была сделана лучшим школьным другом, мальчиком по имени Дэниел, которому он сказал правду непосредственно перед съемкой. Дэниел работал над серией портретов семей «на самом краю», и Джей-Би, уже стоя на пороге квартиры, торопливо развеял его представления о тете – ночной бабочке и полуграмотной матери. Дэниел открыл рот, но не смог издать ни звука, и тут к двери подошла мать Джей-Би и велела заходить, нечего, мол, стоять на холоде, и Дэниелу пришлось повиноваться.

Все еще не пришедший в себя Дэниел разместил их в гостиной: бабушка Джей-Би, Иветт, уселась на свое любимое кресло с высокой спинкой, с одной стороны от нее встали тетя Кристин и ее девушка Сильвия, а по другую – Джей-Би с матерью. Но вдруг, прежде чем Дэниел успел сделать снимок, Иветт потребовала, чтобы Джей-Би занял ее место. «Он король в этом доме, – сказала она, не слушая возражений дочерей. – Жан-Батист! Сядь!» Он сел. На фотографии он сжимает подлокотники кресла пухлыми руками (уже тогда он был пухлым), а женщины с обеих сторон смотрят на него с обожанием. Сам же он смотрит прямо в камеру и широко улыбается, сидя в кресле на законном бабушкином месте.

Их вера в него, в его будущий триумф, оставалась неколебимой – настолько, что от этого делалось не по себе. Они были уверены – даже когда его собственная уверенность подвергалась многочисленным испытаниям и ее все труднее было возродить, – что однажды он станет великим художником, что его картины будут висеть в главных музеях, что люди, которые не дают ему себя проявить, просто не понимают масштабов его дарования. Иногда он верил им и выплывал на этой их вере. А иногда сомневался: если их мнение настолько расходится с мнением всего остального мира, может быть, они необъективны или просто сошли с ума? А вдруг у них нет вкуса? Как может суждение четырех женщин так радикально отличаться от суждения всех остальных? Какова вероятность, что правы именно они?

И все же большим облегчением были эти тайные воскресные визиты домой, где можно наесться вдоволь, где бабушка постирает его вещи, где будут ловить на лету каждое его слово, восхищенно обсуждать каждый набросок. Дом матери был родной землей, тем местом, где перед ним благоговеют, где все обычаи и порядки служат ему, его потребностям. И вечером, в

какую-то минуту – после обеда, но до десерта, когда они все сидят у телевизора в гостиной и мамина кошка греет его колени, – он смотрит на своих женщин и чувствует, как что-то нарастает в груди. Он думает о Малкольме, о его безупречном интеллектуале-отце, и милой, но рассеянной матери, потом о Виллеме и его покойных родителях (Джей-Би видел их только однажды, на первом курсе, когда друзья съезжали из общежития перед каникулами, и удивился, какие они холодные, какие чопорные, ни в чем не похожие на Виллема) и, наконец, конечно, о Джуде, вообще без всяких родителей (здесь какая-то тайна: они знакомы больше десяти лет и вообще не знают, были ли у Джуда родители, только что все было очень плохо и об этом нельзя говорить), и тут Джей-Би обволакивает теплая волна счастья и благодарности, как будто океан поднимается к его груди. Как мне повезло, думает он – потому что он привык во всем соревноваться со сверстниками и вел вечный счет, – я самый везучий из нас. Но никогда ему не думалось, что он этого не заслуживает или что надо больше трудиться, чтобы выразить свою благодарность; его семья счастлива, если он счастлив, и, значит, единственное его обязательство – быть счастливым, жить так, как хочется, делать все по-своему.

– Как жаль, что семья нам дается не по заслугам, – сказал однажды Виллем под сильным кайфом. Он, конечно, имел в виду Джуда.

– Согласен, – ответил Джей-Би. И он правда был согласен: никто из них, ни Виллем, ни Джуд, ни даже Малкольм, не имел той семьи, которой заслуживал. Но втайне он считал себя исключением: у него была именно такая семья. Он знал, что его домашние – настоящее чудо. И именно этого он заслуживал.

«А вот и мой лучший в мире мальчик!» – восклицала Иветт, когда он входил в дом. И он нисколько не сомневался, что так оно и есть.

В день переезда лифт сломался.

– Черт побери, – сказал Виллем. – Я же специально спрашивал Аннику про это. Джей-Би, у тебя есть ее телефон?

Но у Джей-Би не было ее телефона.

– Ну что ж, – вздохнул Виллем. С другой стороны, что толку писать сообщения Аннике. – Простите, ребята, – сказал он остальным. – Придется по лестнице.

Никто не возражал. Стоял прекрасный осенний день, прохладный, сухой, ветреный, их было восемь человек на довольно умеренное количество коробок и несколько предметов мебели – Виллем и Джей-Би и Джуд и Малкольм, и Ричард, друг Джей-Би, и Каролина, приятельница Виллема, и еще двое их общих друзей, которых звали одинаково, Генри Янг, и чтобы их различать, одного называли Черный Генри Янг, а другого – Желтый Генри Янг.

Малкольм, который неожиданно оказался неплохим организатором, раздавал всем задания. По его команде Джуд поднялся в квартиру и указывал, что куда ставить. В перерыве он распаковывал крупные вещи и открывал коробки. Каролина и Черный Генри Янг, оба невысокие и коренастые, носили коробки с книгами, поскольку они были удобного для них размера. Виллем, Джей-Би и Ричард таскали мебель. А Малкольм и Желтый Генри Янг носили все остальное. На обратном пути они захватывали с собой коробки, которые Джуд сплющивал, и складывали их на краю тротуара возле мусорных баков.

– Помощь нужна? – негромко спросил Виллем Джуда, пока все распределяли работу.

– Нет, – ответил тот отрывисто.

Виллем следил за тем, как Джуд, медленно и спотыкаясь, поднимался по лестнице, пока

он не скрылся из виду.

Они легко все втащили, быстро и без особых приключений, и после еще немного послонялись по квартире все вместе, распаковывая книги и поедая пиццу, а потом все разошлись, кто в бар, кто на вечеринку, и Виллем с Джудом остались наконец одни в своей новой квартире. Вокруг царил хаос, но одна только мысль о том, чтобы начать расставлять по местам вещи, их утомляла. И они медлили, удивляясь, что так быстро стемнело и что им теперь есть где жить, да еще на Манхэттене, и они могут себе это позволить. Они оба заметили, как их друзья вежливо сохраняли невозмутимое выражение лиц, когда входили в квартиру (больше всего всех поразила спальня с двумя узкими кроватями, «как в викторианской психушке» – так Виллем описал комнату Джуду), но их все здесь устраивало: это было их жилье, с двухлетним договором, никто его не отнимет. Они даже смогут откладывать немного денег, и зачем им больше места? Конечно, обоим хотелось красоты, но красоте придется подождать. Вернее, им придется подождать ее.

Они разговаривали, но глаза Джуда были закрыты, и Виллем видел – по тому, как постоянно, словно крылья у колибри, дергались его веки, по тому, как кисть судорожно сжималась в кулак и вздувались вены, зеленоватые, словно океанская вода, – что ему больно. Он видел по напряженной неподвижности ног, которые покоились на коробке с книгами, что боль невыносима, и знал, что ничего нельзя сделать, чтобы ее облегчить. Если бы он сказал: «Джуд, давай я дам тебе аспирин», Джуд ответил бы: «Все в порядке, Виллем, мне ничего не нужно», а если бы он сказал: «Джуд, давай ты приляжешь», Джуд ответил бы: «Виллем, все в порядке. Не волнуйся». Так что в конце концов он сделал то, что они все научились делать с годами, когда у Джуда начинали болеть ноги. Он вышел из комнаты под каким-то предлогом, чтобы Джуд мог лежать неподвижно и ждать, пока пройдет боль, не тратя силы на разговор, не притворяясь, что все в порядке, он просто устал, отсидел ногу, или не придумывая другую нелепую отговорку.

В спальне Виллем отыскал большой мусорный мешок, в который они сложили постельное белье, и застелил сначала свой матрас, а потом матрас Джуда (купленный за бесценок неделю назад у тогдашней девушки Каролины, которая с тех пор стала бывшей девушкой). Он рассортировал свою одежду на рубашки, брюки и белье с носками, отведя каждой категории свою коробку (откуда только что вытащил книги), и засунул коробки под кровать. Одежду Джуда он трогать не стал, а перешел в ванную, где тщательно вымыл все с дезинфицирующим средством, прежде чем раскладывать щетки, пасту, бритвы и шампуни. Раз или два он прерывал работу и заглядывал в гостиную, где Джуд оставался все в том же положении: глаза его были по-прежнему закрыты, руки сжаты в кулаки, а голова повернута так, что Виллем не видел выражения его лица.

Он испытывал к Джуду сложные чувства. Он любил его – тут все было просто, – и боялся за него, и иногда ощущал себя скорее старшим братом и защитником, чем просто другом. Он понимал, что Джуд может жить – и жил – без него, но видел в Джуде нечто такое, то заставляло его остро ощущать собственную беспомощность, и парадоксальным образом от этого еще сильнее хотелось помочь Джуду (хотя тот редко обращался за какой-либо помощью). Они все любили Джуда и восхищались им, но он часто чувствовал, что Джуд подпускает его немного – совсем немного – ближе, чем остальных, и не знал, что ему с этим делать.

Например, боль в ногах: сколько они его знали, у него всегда были проблемы с ногами. Это, конечно, было трудно не заметить: в колледже он ходил с тростью, а когда был моложе

(он был совсем юным, когда они познакомились, на целых два года младше их, и все еще рос), мог передвигаться только с костылем и носил ортопедические скобы с ремнями и внешними штифтами, ввинченными прямо в кости, из-за которых у него почти не гнулись колени. Но он никогда не жаловался, ни разу, хотя к чужим жалобам относился сочувственно; на первом курсе Джей-Би поскользнулся на льду, упал и сломал запястье, и всем им запомнилась последующая суэта, театральные стоны и вопли Джей-Би, и как целую неделю после того, как ему наложили гипс, он отказывался выходить из лазарета, и его навещало столько народу, что в конце концов о нем напечатали статью в университетской газете. В их общежитии был парень, футболист, который как-то порвал мениск и утверждал, что Джей-Би просто не знает, что такое боль, но Джуд ходил к Джей-Би каждый день, так же, как Виллем и Малкольм, и Джей-Би получал от него полную меру сострадания.

Однажды ночью, вскоре после того, как Джей-Би наконец соизволил выписаться и вернулся в общежитие, чтобы уже там окружать себя всеобщим вниманием, Виллем проснулся и обнаружил, что комната пуста. В этом не было ничего особенно необычного: Джей-Би был у бойфренда, а Малкольм теперь по вторникам и четвергам ночевал в лаборатории, поскольку в этом семестре слушал курс астрономии в Гарварде. Виллем и сам часто ночевал где-то еще, обычно в комнате у своей девушки, но она подхватила грипп, и в этот раз он остался дома. А Джуд всегда был на месте. У него никогда не было ни девушки, ни бойфренда, он всегда спал здесь, на нижней койке, под Виллемом, его присутствие было неизменным и знакомым, как морской пейзаж.

Виллем сам не знал, что заставило его слезть с койки и встать посреди комнаты, сонно оглядываясь по сторонам, словно Джуд мог лазать по потолку, как паук. Но потом он заметил, что нет костыля, и стал искать Джуда в гостиной, негромко окликая его, а после вышел из их блока и пошел по коридору к общей ванной. После темноты комнат свет в ванной казался тошнотворно ярким, флуоресцентные лампы издавали непрерывное гудение, и он был так дезориентирован, что почти не удивился, увидев, что из-за двери последней кабинки торчит нога Джуда и кончик костыля.

– Джуд? – прошептал он, стуча в дверь кабинки, и когда ответа не последовало, добавил: – Я вхожу. Он распахнул дверь и обнаружил Джуда на полу; одна его нога была согнута и подобрана под живот. У головы разлилась лужица рвоты, рвота оранжевым пунктиром присохла к губам и подбородку. Глаза были закрыты, он был весь в поту и сжимал край костыля с судорожной силой – позже Виллем узнал, что так он делает, когда ему особенно худо.

В тот момент, однако, в растерянности и испуге, Виллем стал задавать Джуду вопрос за вопросом, хотя тот был не в состоянии отвечать, и только когда он попытался поднять его на ноги, Джуд закричал, и Виллем понял, какую страшную боль тот испытывает.

Кое-как он поднял его и поволок в комнату, неумело привел в порядок и уложил в постель. К тому времени худшее было позади, и когда Виллем спросил, не надо ли позвать врача, Джуд отрицательно помотал головой.

– Джуд, слушай, – негромко проговорил Виллем, – ты же болен, надо обратиться за помощью.

– Мне ничего не помогает, – сказал Джуд и снова замолчал на мгновение. – Просто надо подождать.

Его голос звучал слабо, с придыханием, и казался чужим.

– Что я могу сделать? – спросил Виллем.

– Ничего, – ответил Джуд. Они помолчали. – Но, Виллем... ты можешь побыть со мной еще немного?

– Конечно.

Джуд дрожал, словно в ознобе, и Виллем снял одеяло с собственной кровати и накрыл его. Чуть позже он нашел под одеялом руку Джуда и расцепил его кулак, чтобы сжать влажную жесткую ладонь. Он очень давно не держал за руку мужчину – с тех пор как оперировали его брата – и был удивлен, какой сильной оказалась рука Джуда, какие у него мускулистые пальцы. Еще несколько часов Джуд содрогался в ознобе, стуча зубами, и в конце концов Виллем прилег возле него и заснул.

На следующее утро он проснулся в кровати Джуда; рука ныла, на тех местах, куда впивались его пальцы, остались синяки. Он встал, нетвердо держась на ногах, и вошел в гостиную, где Джуд читал что-то за своим столом; черты его были неразличимы в ярком утреннем свете. При появлении Виллема он встал, и некоторое время они просто молча смотрели друг на друга.

– Виллем, прости, пожалуйста, – сказал наконец Джуд.

– Джуд, тут не о чем говорить.

Ему казалось, что это очевидно, но Джуд снова и снова повторял «Прости, прости», и сколько бы Виллем ни убеждал его, что просить прощения совершенно не за что, тот не унимался.

– Пожалуйста, не говори Малкольму и Джей-Би, ладно?

– Не скажу, – пообещал Виллем и сдержал свое слово; впрочем, в конечном счете это не имело значения, поскольку со временем Малкольм и Джей-Би тоже столкнулись с этими его приступами боли, хотя такие длительные приступы, как в ту ночь, случались всего несколько раз.

Он никогда не обсуждал это с Джудом, несмотря на то что в последующие годы видел, как его мучают самые разные виды боли: сильная боль и легкая; он видел, как Джуд кривится от мимолетного приступа, а иногда, когда накатывало особенно сильно, видел, как Джуда рвет, или как он опускается на пол, или просто отключается и ни на что не реагирует, как сейчас в гостиной. Виллем привык держать слово, и все-таки какой-то частью сознания он сам удивлялся, почему никогда не говорит об этом с Джудом, почему не заставит его рассказать, что он чувствует, не смеет сделать то, что сотни раз подсказывал ему инстинкт: сесть с ним рядом, растереть ему ноги, постараться промассировать, унять эти обезумевшие нервные окончания. Вместо этого он прячется в ванной, пытается занять себя уборкой, когда в нескольких метрах от него один из ближайших друзей сидит на безобразном диване и медленно, мучительно, одиноко возвращается в сознание, и никого нет с ним рядом.

– Трус, – сказал он своему отражению в зеркале над раковиной. На него глядело лицо человека, который устал чувствовать отвращение к самому себе. В гостиной по-прежнему стояла тишина, но Виллем осторожно подошел к порогу, ожидая, когда Джуд вернется к нему.

– Вонючая дыра, – сказал Джей-Би Малкольму, и хотя он был прав – от одного только подъезда волосы вставали дыбом, – но все-таки Малкольм вернулся домой в печали, в который уже раз спрашивая себя, не лучше ли жить в собственной вонючей дыре, чем оставаться в родительском доме.

Конечно, если рассуждать логически, глупо что-то менять: зарабатывает он мало, работает много, дом родителей так велик, что теоретически он мог бы и вовсе с ними не

встречаться. Он занимал весь четвертый этаж (который, честно говоря, выглядел немногим лучше вонючей дыры, такой там был бардак – мать давно уже не посылала туда домработницу, после того как Малкольм наорал на нее, утверждая, что Инес сломала один из его макетов) и, кроме того, мог пользоваться кухней, стиральной машиной, мог читать все газеты и журналы, которые выписывали родители, раз в неделю мог сунуть свою одежду в матерчатый мешок, который мать завозила в химчистку по дороге в офис, а Инес забирала на другой день. Конечно, гордиться тут было нечем: ему двадцать семь, а мама все еще звонит ему на работу, делая покупки на неделю, и спрашивает, хочется ли ему клубники и предпочтет ли он на ужин форель или леща.

Было бы легче, если бы родители соблюдали проводимые им границы времени и пространства. Однако они ожидали ежедневного совместного завтрака, совместного обеда по воскресеньям, а также нередко являлись с визитом к нему на этаж, одновременно стуча в дверь и открывая ее, что, как не раз говорил им Малкольм, лишало стук всякого смысла. Он знал, что думать так – черная неблагодарность с его стороны, и все же ему иногда не хотелось идти домой из-за неизбежной светской беседы, которую ему придется пережить, прежде чем он ускользнет к себе наверх, словно подросток. Он с ужасом думал о том, что теперь в его доме не будет Джуда; хотя подвал был более уединенным помещением, чем четвертый этаж, родители усвоили манеру заходить в гости и туда, так что иногда, спускаясь повидаться с Джудом, Малкольм заставал у него отца – тот обычно вещал о чем-нибудь очень скучном. Отец особенно привязался к Джуду и часто говорил Малкольму, что Джуд – человек по-настоящему высокого интеллекта, в отличие от других его друзей, которых он считал пустозвонами, – но теперь ведь ему, Малкольму, придется выслушивать бесконечные рассказы о рынках и глобальных финансовых сдвигах, а также о других абсолютно безразличных ему вещах. Иногда он подозревал, что отец предпочел бы такого сына, как Джуд: даже юридическое образование они получили в одном и том же месте. Джуд начинал референтом у того же судьи, который в свое время был наставником отца на его первой работе. А сейчас Джуд стал помощником прокурора в уголовном отделе федеральной прокуратуры, где отец служил в молодости.

«Попомни мои слова, этот мальчик далеко пойдет» или «Скоро он будет настоящей звездой, а ведь всего добился сам», – то и дело объявлял отец Малкольму и жене с весьма самодовольным видом, будто он как-то приложил руку к талантам Джуда, и в эти минуты Малкольм старался не встречаться взглядом с матерью, поскольку знал, что увидит на ее лице сочувствие.

Если бы Флора по-прежнему жила дома, было бы легче. Когда она собралась съезжать, Малкольм хотел предложить ей вместе снимать облюбованную ею двухкомнатную квартирку на Бетун-стрит, но она то ли искренне не понимала его многочисленных намеков, то ли не хотела понимать. Она была готова уделять родителям то несуразное количество времени, которого они требовали от своих детей, и он подолгу оставался у себя наверху, работая над своими макетами, и реже спускался вниз, где приходилось, ерзая, смотреть нескончаемые европейские короткометражки, которые так любил отец. Когда Малкольм был моложе, его задевало, что отец явно предпочитает ему Флору – это было очевидно, даже друзья нередко подшучивали по этому поводу. «Фантастическая Флора», так отец называл ее (и еще, на разных этапах ее взросления, «Фасонистая Флора», «Флора-Фрондер», «Флора-Фу-ты-нуты», но это всегда звучало одобрительно), и даже сейчас, когда Флоре было почти тридцать, он относился к ней все с тем же умилением. «Фантастическая Флора отлично сострила

сегодня», – сообщал он за ужином так, словно его жена и сын не видели Флору сто лет. Или после бранча поблизости от ее квартиры: «Зачем наша фантастическая дочь уехала так далеко от нас?», хотя до нее можно было добраться на машине за 15 минут. (Это особенно бесило Малкольма, поскольку отец вечно рассказывал ему цветистые истории о том, как он ребенком переехал с Гренадин в Квинс и с тех пор вечно разрывается между двумя странами, и добавлял, что Малкольму тоже нужно уехать и пожить где-то экспатом, потому что это обогатит его как личность, позволит по-новому взглянуть на мир, и так далее, и так далее. Но Малкольм не сомневался, что, если бы Флора вздумала переехать в другой район, не говоря уж о другой стране, отец бы этого не вынес.)

У Малкольма не было прозвищ. Иногда отец звал его по фамилиям других – знаменитых – Малкольмов: «Икс», или «Макларен», или «Макдауэлл», или «Маггеридж» (в честь последнего его предположительно и назвали), но это всегда звучало не как ласка, а как упрек, напоминание, кем он должен быть стать, но явно не стал.

Иногда – даже часто – Малкольм говорил себе, что хватит уже расстраиваться и дуться: ну не нравится он собственному отцу, что ж поделаешь. Даже мать ему это говорила. «Ты знаешь, папуля не хотел сказать ничего плохого», – увещевала она его время от времени, после того как отец произносил очередной монолог о превосходстве Фантастической Флоры, и тогда Малкольм, разрываясь между желанием верить ей и раздражением от того, что она называет отца «папулей», бормотал в ответ что-то в том смысле, что ему плевать. А иногда – все чаще и чаще – он ругал себя, что вообще так много думает о родителях. Нормально ли это? Нет ли в этом чего-то жалкого? Ему двадцать семь, в конце концов! Это так у всех, кто живет дома? Или с ним одним что-то не так? Веский аргумент, что пора переезжать: он перестанет быть таким младенцем. Иногда вечерами, когда родители этажом ниже укладывались спать – старые трубы шумели, пока они умывались, потом наступала внезапная тишина, когда они выключали батареи в гостиной, и все эти звуки лучше всяких часов отсчитывали время: одиннадцать, полдвенадцатого, двенадцать, – он мысленно составлял список тех проблем, которые ему нужно решить в ближайший год, без промедления: работа (ничего не происходит), личная жизнь (не существует), сексуальная ориентация (не определена), будущее (в тумане). Эти четыре пункта оставались неизменными, хотя их расположение по важности могло меняться. Также неизменной оставалась его способность поставить точный диагноз вместе с абсолютной неспособностью найти выход.

На следующее утро он просыпался, полный решимости: сегодня уедет из дому и скажет родителям, чтобы оставили его в покое. Но, спустившись вниз, он видел мать, она готовила ему завтрак (отец к тому времени давно был на работе) и говорила, что собирается сегодня покупать билеты на Сен-Барт, куда они ездили каждый год, и просила решить, на сколько дней он к ним присоединится. (Родители все еще оплачивали за него эти поездки. Он никогда не упоминал об этом в разговорах с друзьями.) «Да, мам», – говорил он. А потом завтракал и выходил в большой мир, где никто не знал его и где он мог быть кем угодно.

Впять вечера по будням и в одиннадцать утра по выходным Джей-Би спускался в подземку и ехал в Лонг-Айленд-Сити, к себе в студию. Ездить он больше всего любил по вечерам: садился на «Канал-стрит» и глядел, как на каждой остановке вагон пустеет и наполняется пестрой ртутью разных людей и национальностей, как через каждые десять кварталов пассажиры сбиваются во взрывоопасные неожиданные комбинации: поляки, китайцы, корейцы, сенегальцы – сенегальцы, доминиканцы, индийцы, пакистанцы – пакистанцы, ирландцы, сальвадорцы, мексиканцы – мексиканцы, ланкийцы, нигерийцы, тибетцы, – и роднит их только то, что в Америке все они новички, да лица у них у всех одинаково изможденные; так, решительно и в то же время покорно, глядят только иммигранты.

В такие минуты он с благодарностью думал о том, как ему повезло, и проникался нежностью к своему городу, что случалось с ним нечасто. Обычно он потешался над теми, кто превозносил яркую мозаичность его родного города, сам он был не из таких. Но его восхищало – да и как иначе? – сколько работы, сколько настоящей работы, вне всякого сомнения, проделали сегодня его попутчики. Но вместо того чтобы устыдиться собственного относительного безделья, он чувствовал облегчение.

Своими чувствами, да и то вскользь, он поделился только с одним человеком – Желтым Генри Янгом. Они с ним ехали в Лонг-Айленд-Сити (студию ему как раз Генри и нашел), когда маленький, жилистый китаец, у которого на самом кончике указательного пальца болтался тяжелый оранжево-красный пакет, словно у хозяина не было ни сил, ни желания ухватить его хоть чуть-чуть покрепче, вошел в вагон, плюхнулся на сиденье напротив и, съезжившись и скрестив ноги, тотчас же уснул. Генри, которого Джей-Би знал еще со школы – тот был сыном швеи из Чайнатауна и в школе тоже учился на стипендию, – поглядел на Джей-Би и беззвучно, одними губами прошептал: «Кабы не милость Божия», – и Джей-Би прекрасно знал, что он чувствует – смесь радости и стыда.

Ездить по вечерам он любил еще и из-за света, из-за того, как свет, будто живое существо, набивался в поезд, пока вагоны грохотали по мосту, как он смывал усталость с лиц сидевших рядом с ним пассажиров, показывая их такими, какими они были, когда только приехали сюда, когда они были молоды и думали, что Америка им по силам. Он глядел, как добрый этот свет сиропом течет в вагон, разглаживает хмурые лбы, переплавляет седину в золото, как приглушает до дорогого глянца лоснящуюся дешевую ткань. Но потом солнце уплывало, вагон равнодушно катился дальше, и мир снова обретал привычные унылые формы и цвета, а люди – привычный унылый вид, и перемена эта была до того резкой и внезапной, будто совершалась по взмаху волшебной палочки.

Джей-Би любил притворяться, будто он – такой же, как они, хоть и знал, что это не так. Случалось, в вагон заходили гаитяне, и тогда он – вслушиваясь по-волчьи, выцепляя из общего гула тягучие, певучие звуки креольского – принимался глядеть на них, на двух мужчин, круглолицых, как его отец, или на двух женщин с носами-пуговками, как у его матери. Он вечно ждал какого-нибудь уместного повода заговорить с ними – вдруг они примутся обсуждать, как проехать куда-нибудь, а он тогда вклинится и им поможет, – но повода никогда не находилось. Иногда они, не прерывая разговора, поглядывали в сторону сидений, и тогда он весь подбирался, готовясь улыбнуться, но они, похоже, не признавали в

нем своего.

Да и не был он своим. Даже он понимал, что у него больше общего с Желтым Генри Янгом, с Малкольмом, с Виллемом или даже с Джудом, чем с ними. Вы только поглядите на него: вышел на Корт-сквер и пошел к себе в студию, которую с другими художниками снимает в трех кварталах от метро, в здании бывшей бутылочной фабрики. Разве настоящие гаитяне снимают студии? Разве настоящему гаитянину придет в голову, что из собственной большой квартиры, где он чисто теоретически мог бы отгородить себе уголок для рисования-малевания, можно уйти и полчаса провести в подземке (а ведь за тридцать минут можно столько всего переделать!) только ради того, чтобы оказаться в залитой солнцем грязной комнате? Ну конечно нет. Чтобы додуматься до такой роскоши, нужно мыслить как американец.

У студии на третьем этаже, куда вела металлическая лестница, гудевшая под ногами будто колокол, были белые стены и белый пол, впрочем, такой исчирканный, что казалось, будто по нему разбросаны лохматые коврики. По стенам шли пунктиром старомодные высокие створчатые окна, и уж их-то они мыли, все по очереди – на каждого приходилось по стене, – слишком хорош был свет, чтобы прятать его под слоем грязи, только ради света они эту студию и снимали. Здесь была ванная (в ужасном состоянии) и кухня (чуть-чуть попримечнее), а в самом центре студии стоял огромный стол – положенная на тройные козлы плита дешевого мрамора. Стол был общим, им пользовались все, кому нужно было дополнительное пространство для проекта, и теперь мрамор был покрыт лиловыми и золотыми разводами, закапан драгоценным красным кадмием. Сегодня на нем лежали разноцветные ленты из выкрашенной вручную органзы. С обеих сторон они были прижаты книжками – концы лент подрагивали в такт крутившемуся под потолком вентилятору. В центре стола домиком стояла записка: «НЕ ДВИГАЙТЕ. СОХНЕТ. ЗАВТРА ВЕЧ. УЖЕ УБЕРУ. СПС ЗА ПОНИМАНИЕ. Г. Я.»

В самой студии перегородок не было, но она была поделена изолентой на четыре равных части – по пятьсот квадратных футов на каждого, причем синие линии тянулись не только по полу, но и по стенам и по потолку – над головами художников. К чужой территории относились донельзя уважительно, притворялись, будто не слышат ничего, что творится в других углах, даже когда сосед шипел что-то по телефону подружке и слышно было все до единого слова. Тому же, кто хотел зайти в чужое пространство, сначала нужно было встать на краешек синей ленты, тихонько позвать хозяина и, только убедившись, что тот не ушел с головой в работу, попросить разрешения войти.

Свет в половине шестого был идеальный – сливочный, густой и даже как будто жирный, он наполнял студию тем же простором и надеждой, что и вагон подземки. Джей-Би был один. Его сосед, Ричард, по вечерам подрабатывал в баре и поэтому в студии бывал по утрам, как и Али, занимавший угол напротив. Оставался Генри, чей кусок студии находился по диагонали от его, но Генри работал в галерее и приходил только после работы, в семь. Джей-Би снял пиджак, швырнул его в угол, сдернул покрывало с холста и, вздыхая, уселся перед ним на табурет.

Джей-Би работал в студии уже пятый месяц, и ему страшно нравилось, он и представить не мог, что ему это так понравится. Ему нравилось, что студию он делил с настоящими, серьезными художниками; работать у Эзры он бы никогда не смог, и не только потому, что верил любимому профессору, который однажды посоветовал не рисовать там, где трахаешься, но и потому, что у Эзры его бы вечно окружали и отвлекали от работы

дилетанты. Там искусство было своего рода придатком к образу жизни. Если ты рисовал, лепил или ваял говенные инсталляции, то получал право ходить в застиранных футболках и грязных джинсах, иронично пить дешевое американское пиво, иронично курить иронически дорогие американские самокрутки. Но здесь ты занимался искусством, потому что одно это и умел делать хорошо, потому что на самом деле только об этом и думал меж быстро гаснущих мыслей, свойственных каждому: секс, еда, сон, друзья, деньги, слава. Ты мог подкатывать к кому-нибудь или ужинать с друзьями, а твой холст все это время сидел внутри тебя, и перед твоим внутренним взором покачивались зародыши всех его форм и вариаций. И потом для каждой твоей картины, каждого твоего проекта наступало такое время – по крайней мере, ты надеялся, что оно наступит, – когда жизнь этой картины казалась тебе реальнее жизни будничной, когда ты только и думал о том, как бы поскорее вернуться в студию, когда ты, сам того не сознавая, за ужином высыпал на стол горку соли и чертил ею свои сюжеты, планы и узоры, а белые крупички, будто ил, тянулись за твоими пальцами.

И еще ему нравилось неожиданное, особенное компанейство этого места. Иногда на выходных они оказывались в студии все вместе, и он, оторвавшись от своей картины, будто выныривая из тумана, чувствовал, как они сосредоточены и от усилий дышат резко, почти пыхтят. Он чувствовал, как вся затраченная ими энергия заполняет воздух, будто сладковатый, горючий газ, и ему хотелось закупорить его в бутылку и потягивать потом, когда исчезнет вдохновение, когда он будет часами просиживать перед холстом, как будто, если глядеть на него достаточно долго, холст вдруг с хлопком переродится во что-то мощное и гениальное. Ему нравилось соблюдать ритуалы – встать возле синей линии, тихонько прокашляться, чтобы привлечь внимание Ричарда, а потом переступить границу, и взглянуть на его работу, и вместе с ним молча стоять перед ней, изредка обмениваясь односложными словами, потому что они прекрасно понимали друг друга и без слов. Столько времени уходило на то, чтобы объяснить другим, что такое ты и что такое твоя работа – что она значит, что ты хотел этим сказать, почему ты хотел сказать именно это, почему ты выбрал эти цвета, и эту тему, и эти материалы, и такую технику, и способ нанесения, – и поэтому таким облегчением было очутиться рядом с человеком, которому не надо ничего объяснять и можно просто глядеть и глядеть, а если уж что и спрашивать – так прямо, технично, в лоб. Они как будто обсуждали моторы или водопровод, что-то однозначное и механическое, подразумевавшее всего один или два варианта ответов.

Все они работали в разных жанрах и поэтому не соревновались друг с другом, не боялись, что один видеохудожник, например, начнет выставляться раньше другого, и почти не опасались того, что куратор придет взглянуть на твою работу, а влюбится в работы соседа. Но, кроме того, Джей-Би по-настоящему уважал творчество остальных. Генри делал то, что сам он называл деконструированными скульптурами, – странные, замысловатые икебаны из цветов и веток, которые он мастерил из шелка разных сортов. Но, закончив каждую такую икебану, он вытаскивал из нее проволочный каркас, и скульптура распластывалась по полу, превращаясь в лужу абстрактных цветов, – и один Генри знал, как она выглядела, когда была объемным предметом.

Али был фотографом и работал над проектом под названием «История азиатов в Америке», для которого он сделал серию фотографий – по одной на десятилетие, начиная с 1890-х. Для каждого снимка он подготовил диораму – в сосновых ящиках три на три фута, которые ему сколотил Ричард, – с изображением какого-нибудь эпохального события или важной темы. Он купил в магазине для художников маленькие пластмассовые фигурки и

раскрасил их вручную, вылепил из глины и обжег деревья и тропинки и все это поместил в диораму, а фон нарисовал очень тонкой, будто сделанной из ресничек кистью. Затем он сфотографировал все диорамы и отпечатал цветные снимки. Из всех четверых пока только Али нашел галерею, которая согласилась его представлять, и его первая выставка должна была открыться через семь месяцев, но о выставке Али лучше было не спрашивать, потому что при одном упоминании о ней он от волнения начинал заикаться. Работал Али не в хронологическом порядке: он сделал двухтысячные (кишащий парочками Нижний Бродвей, все мужчины белые, за каждым, держась на небольшом расстоянии, идет азиатка), потом восьмидесятые (на парковке двое крошечных белых головорезов избивают разводными ключами крошечного китайца, дно коробки смазано лаком, чтобы было похоже на блестящий после дождя асфальт), а теперь трудился над сороковыми – раскрашивал пятьдесят фигурок мужчин, женщин и детей, которые должны были изображать узников сегрегационного лагеря на озере Туле. Работа Али была самой кропотливой, и поэтому, когда остальные отлынивали от своих проектов, они забредали в угол к Али и усаживались вокруг него, а он, даже не поднимая головы от лупы и трехдюймовой фигурки, которой пририсовывал юбку «в елочку» и двухцветные туфли, то протягивал им проволочную губку для мытья посуды, которую нужно было разобрать на мелкие лохмотья, чтобы сделать из них перекати-поле, то велел вязать узелки на тончайшей проволоке, чтобы она превратилась в колючую.

Но больше всего Джей-Би восхищали работы Ричарда. Тот тоже был скульптором, но работал только с недолговечными материалами. Он рисовал какие-то невообразимые формы на чертежной бумаге, вырезал их из льда, жира, шоколада и затем снимал на видео, как они плавятся. Ричард веселился, наблюдая за тем, как исчезает его труд, но когда Джей-Би в прошлом месяце увидел, как раскрошилась и растеклась массивная восьмифутовая скульптура – распростертое будто парус перепончатое крыло из замороженного виноградного сока, похожего на свернувшуюся кровь, – он чуть было не расплакался, хоть и не знал почему: то ли из-за того, что разрушена такая красота, то ли из-за того, каким пронзительно-будничным было это разрушение. После тающих материалов Ричард увлекся материалами, которые могли бы притягивать насекомых, и особенно его интересовали бабочки, которые, как выяснилось, любят мед. У него перед глазами, рассказывал он Джей-Би, так и стоит скульптура, густо облепленная бабочками, под слоем которых не видно даже очертаний того, что они пожирают. Все подоконники на его стороне были уставлены банками с медом, в которых пористые соты висели словно застывшие в формальдегиде эмбрионы.

Один Джей-Би занимался классическим искусством. Он писал красками. И, что еще хуже, был фигуративистом. Когда он заканчивал учебу, фигуративное искусство вообще никого не интересовало. Видео-арт, перформансы, фотография – все было лучше, чем живопись, и уж тем более живопись фигуративная. «Что в пятидесятых, что сейчас, ничего не поменялось, – вздохнул один профессор в ответ на жалобы Джей-Би. – Помните девиз морских пехотинцев? „Избранные, смелые...“ Вот это про нас, одиноких отщепенцев».

И не скажешь ведь, что он никогда не делал ничего другого, не пробовал себя в других жанрах (вспомнить эту его идиотскую, дутую, сворованную у Мерет Оппенгейм затею с волосами! Опуститься до такой дешевки! Они разругались с Малкольмом – чуть ли не вдрызг, – когда тот назвал его работы «суррогатом Лорны Симпсон» и, что самое ужасное, был совершенно прав), но, пусть Джей-Би никому бы и не признался, что, по его мнению, быть фигуративным художником – это несолидно, и даже как-то по-девчачьи, и уж точно не

для черных мужиков, в последнее время он все же смирился с тем, что он и есть такой художник. Он любит портреты, он любит краски, а значит, этим он и будет заниматься.

Ну и дальше что? Он знал – он знает людей, которые в техническом плане куда талантливее его. Они и рисовали лучше и чувство цвета и композиции у них было точнее, и трудолюбия побольше. Не хватало им только идей. Художникам не меньше, чем писателям или композиторам, нужны темы, нужны идеи. А их у него очень долго не было. Поначалу он решил рисовать только чернокожих, но чернокожих и так много кто рисовал, и Джей-Би чувствовал, что ничего нового он тут не изобретет. Принялся было рисовать шлюх, но потом ему и это надоело. Взяться за портреты родственниц, но понял, что опять рисует одних чернокожих. Стал набрасывать сценки из книжек о Тинтине, только изображая героев реалистично, живыми людьми, но вскоре ему показалось, что это уж чересчур иронично и плоско, а потому забросил и их. Так, холст за холстом, он и лентяйничал: рисовал прохожих на улицах, пассажиров в подземке, гостей бесчисленных вечеринок у Эзры (самые неудачные его работы, у Эзры собирались люди, которые одевались и двигались так, будто находятся на сцене, и в итоге на набросках у него выходили одни позирующие девицы да разряженные парни, старательно не глядящие в его сторону), и так продолжалось до того самого вечера, когда он, сидя на унылом диване в унылой квартирке Виллема и Джуда, смотрел, как они готовят ужин, толкаясь на крохотной кухоньке, будто суетливая лесбийская пара. Воскресные вечера Джей-Би редко проводил вне дома, но его мать, бабка и тетки отправились в пошлейший круиз по Средиземному морю, и он с ними ехать отказался. Но он привык, что по воскресеньям вокруг него толпятся люди, которые готовят ему ужин – настоящий ужин, и завалился без приглашения к Виллему и Джуду, зная, что те будут дома, потому что денег на рестораны у них нет.

Блокнот для набросков он всегда носил с собой, и поэтому, когда Джуд уселся за складной столик и стал резать лук (кухонной стойки в квартире не было, и они все делали на этом столе), Джей-Би практически машинально принялся его рисовать. Из кухни раздался грохот, запахло оливковым маслом, и когда Джей-Би, заглянув туда, увидел, как Виллем с удивительно безмятежным видом отбивает сковородой для омлетов распластанного перед ним цыпленка, то заодно нарисовал и Виллема.

Тогда он и не думал даже, что из этого что-то выйдет, но в следующие выходные взял у Али старый фотоаппарат и сфотографировал всех троих, сначала когда они ужинали в «Фон Вьет Хьонге», а потом – когда шли по заснеженной улице. Дорога была скользкой, и, беспокоясь о Джуде, они шли очень медленно. Он поймал в видоискатель всю шеренгу: Малкольма, Джуда и Виллема. Малкольм и Виллем шли по бокам от Джуда, стараясь держаться к нему поближе, чтобы подхватить, если тот поскользнется (Джей-Би это знал, потому что и сам так ходил), но не слишком близко, чтобы Джуд не догадался, что они готовятся к его падению. Джей-Би вдруг понял, что они об этом никак не договаривались, просто взяли и начали так ходить.

Он сфотографировал их.

– Джей-Би, ты это зачем? – спросил Джуд.

А Малкольм заныл:

– Джей-Би, да хватит уже!

Они тогда шли на вечеринку, которую у себя в лофте на Сентер-стрит устраивала одна их знакомая по имени Мирасоль, они с ней познакомились еще в колледже через ее сестру-близнеца Федру. На вечеринке они все разбрелись по разным группкам, и Джей-Би, помавав

рукой Ричарду, стоявшему в другом конце комнаты, и подосадовав, что истратил в «Фо Вьет Хьюнге» целых четырнадцать долларов, когда Мирасоль тут накрыла щедрый стол и можно было поесть бесплатно, прибился к Джуду, который разговаривал с Федрой, каким-то толстяком – похоже, ее бойфрендом – и тощим бородатым парнем, его Джей-Би узнал, они с Джудом вместе работали. Джуд примостился на спинке дивана, рядом с ним сидела Федра, они оба глядели снизу вверх на толстяка и тощего парня, и все четверо хохотали. Джей-Би их сфотографировал.

Обычно на таких вечеринках он сразу к кому-нибудь кидался, либо кидались к нему, и он обрастал группками по три-четыре человека, мигрируя из одной в другую, собирая сплетни, распуская безобидные слухи, притворно откровенничая и выуживая из собеседников признания о том, кого они ненавидят, в обмен на рассказы о собственных антипатиях. Но в тот вечер он был внимательным, сосредоточенным, почти что трезвым и фотографировал троих своих друзей, которые двигались по своим траекториям, не подозревая даже, что Джей-Би ходит за ними. Пару часов спустя он увидел, что они втроем сгрудились у окна – Джуд что-то говорил, остальные тянулись к нему поближе, чтобы его расслышать, и вдруг все трое так и прыснули со смеху, и Джей-Би, которому удалось поймать оба кадра, возликовал, хоть поначалу и глядел на друзей с досадой и легкой завистью. «Сегодня я – камера, – твердил он себе, – а завтра я снова стану Джей-Би».

Да и, сказать по правде, давно он не получал столько удовольствия от вечеринки, и никто, похоже, и не заметил, что он так весь вечер и проходил за друзьями, за исключением разве что Ричарда. Когда они через час решили выдвинуться в центр (родители Малкольма уехали за город, а Малкольм вроде как знал, где мать прячет траву), Ричард с неожиданной нежностью, по-стариковски похлопал Джей-Би по плечу.

– Что-то нащупал?

– Похоже на то.

– Молодец.

На следующий день он уселся за компьютер и принялся просматривать вчерашние снимки. Камера была так себе, и фотографии вышли нечеткими, мутновато-желтыми, да и резкость Джей-Би наводить не умел, а потому все фигуры на снимках получились слегка размытыми, окрашенными в теплые густые тона, как если бы снимал он через стакан виски. Дольше всего он разглядывал портрет Виллема – его лицо крупным планом, он кому-то улыбается (какой-нибудь девчонке, это ясно) – и снимок Джуда с Федрой, они сидят рядом на диване: на Джуде синий свитер, который они с Виллемом оба надевали так часто, что Джей-Би толком и не знал, чей он, а на Федре бордовое шерстяное платье, она склонилась к Джуду, волосы у нее до того темные, что его волосы от этого кажутся светлее, и на фоне бугристого сине-зеленого дивана оба сияют как в огранке, их цвета – выпуклые, роскошные, кожа – соблазнительная. Такие цвета сразу хочется нарисовать, и он так и поступил – сначала набросал сценку карандашом в блокноте, потом акварелью на картоне и, наконец, акриловыми красками на холсте.

С тех пор прошло четыре месяца, и Джей-Би заканчивал уже одиннадцатое полотно – рекордная для него производительность – со сценами из жизни друзей. Вот Виллем стоит в очереди на прослушивание и напоследок еще раз перечитывает сценарий, уперев одну ногу в липкую кирпичную стену; вот наполовину затемненное лицо Джуда, он смотрит пьесу и улыбается (Джей-Би удалось поймать эту улыбку, правда, его тогда чуть не выгнали из театра); вот Малкольм с отцом сидят на разных концах дивана, Малкольм очень скованный,

прямой как струна, вцепился руками в колени – они смотрят бунюэлевский фильм, телевизор остался за кадром. Перепробовав несколько вариантов, Джей-Би остановился на холстах размером со стандартную цветную фотографию – горизонтальные, двадцать на двадцать четыре дюйма – и представлял, как когда-нибудь все они зазмеятся по стенам галереи одной бесконечной полосой и каждое изображение будет следовать за другим так же плавно, как кадры на пленке. Изображения были хоть и реалистичными, но все равно походили на фотографии, он так и ходил с фотоаппаратом Али, не стал покупать ничего получше и старался в каждой своей картине запечатлеть эту легкую размытость, которую на всем оставляла камера, – будто кто-то стряхнул верхний слой резкости, и под ним обнаружилась мягкость, которую не углядишь невооруженным взглядом.

Иногда его одолевали сомнения, и тогда ему казалось, что этот его проект слишком хипстерский, слишком узкий – вот тут ему бы очень пригодился куратор, чтобы напоминать, что не ему одному нравится его работа, что кто-то еще счел ее важной, ну или хотя бы красивой, – но даже тогда он чувствовал, с какой самоотдачей работает, сколько удовольствия и удовлетворения приносит ему эта работа. Иногда он жалел, что на картинах нет его самого. Вся жизнь друзей запечатлена, и его отсутствие – будто огромная дыра, но, с другой стороны, он выходил кем-то вроде бога и с удовольствием играл эту роль. И на друзей он теперь глядел совсем по-другому, не как на довески к собственной жизни, а как на выпуклых персонажей, которые живут в своих личных сюжетах, – иногда ему даже казалось, что после стольких лет знакомства он только сейчас впервые их и увидел.

Где-то через месяц после начала проекта, как только он понял, что точно будет продолжать над ним работать, ему, разумеется, пришлось объяснять, почему он повсюду таскается за друзьями с камерой и фотографирует каждодневные события их жизни и почему для него так важно, чтобы они и дальше позволяли ему фотографировать их и пускали в свою жизнь. Они ужинали во вьетнамской лапшичной на Орчард-стрит – подыскивали замену «Фо Вьет Хьонгу», – и когда он закончил говорить (сильно волнуясь, что было на него совсем не похоже), все поглядели на Джуда. Джей-Би заранее знал, что его нелегко будет уговорить. Остальные-то согласятся, но ему это никак не поможет. Нужно было, чтобы согласились все, иначе от проекта не будет никакого толку, а Джуд был из них самый застенчивый еще в колледже: когда кто-нибудь пытался его сфотографировать, он отворачивался или закрывал лицо, а стоило ему улыбнуться или засмеяться, как он судорожно, непроизвольно прикрывал рот рукой – на этот жест, от которого он отучился не так давно, всегда было грустно смотреть.

Его опасения подтвердились, Джуд насторожился.

– И что же ты хочешь показывать? – все спрашивал и спрашивал он, и Джей-Би, набравшись терпения, снова и снова уверял его, что, конечно же, он его никак не унижит и его доверием не злоупотребит, что он просто хочет отразить в картинах, как в хронике, течение их жизни. Остальные молчали и не вмешивались, и в конце концов Джуд согласился, хоть и без особой радости в голосе.

– И когда этот проект закончится? – спросил Джуд.

– Надеюсь, что никогда.

Он и вправду на это надеялся. И жалел только о том, что не начал раньше, когда они были совсем молодыми.

Они вышли на улицу, Джей-Би зашагал рядом с Джудом.

– Джуд, – тихо сказал он, чтобы остальные не услышали. – Все картины с тобой... я

сначала покажу тебе. Если запретишь, выставлять не буду.

Джуд взглянул на него:

– Обещаешь?

– Богом клянусь.

Об этом обещании он тотчас же пожалел, ведь, по правде говоря, именно Джуда он больше всего и любил рисовать. Джуд был самым красивым: у него было самое интересное лицо, самый необычный цвет волос и кожи, и еще из всех троих он был самым стеснительным, поэтому любой его снимок всегда казался ценнее прочих.

В следующее воскресенье Джей-Би, как обычно, пришел домой к матери и стал рыться в коробках с вещами из колледжа, которые стояли в его детской комнате, – он искал одну фотографию и знал, что она точно там лежит. Наконец он ее отыскал – фотографию Джуда-первокурсника, – кто-то сделал снимок, отпечатал, и потом он каким-то образом попал к Джей-Би. Фотография была сделана на кампусе, в их общей гостиной – Джуд стоял вполоборота к камере. Левую руку он прижал к груди, и на тыльной стороне ладони был виден атласный, похожий на морскую звезду, шрам. В правой руке он неумело держал незажженную сигарету. Одет он был в полосатую бело-голубую футболку с длинными рукавами, вряд ли это была его футболка, до того она была ему велика (хотя, как знать, может, и его – Джуду тогда все было велико, потому что, как выяснилось, он специально покупал одежду на несколько размеров больше, чтобы ее можно было проносить несколько лет, пока он растет), а волосы, которые Джуд тогда отпускал подлиннее, чтобы за ними можно было спрятаться, рваными прядями свисали до подбородка. Но Джей-Би этот снимок запомнился в первую очередь из-за того, какое у Джуда было выражение лица – тогда он на всех глядел с опаской. Он годами не вспоминал об этой фотографии, а теперь глядел на нее с чувством какого-то опустошения, причин которого не мог объяснить.

Над этой-то картиной он сейчас и работал, и ради нее он сменил формат и сделал холст квадратным, сорок на сорок дюймов. Он несколько дней экспериментировал с красками, чтобы получить тот самый переменчивый змеисто-зеленый цвет радужек Джуда, а цвет волос переделывал несколько раз, пока не добился нужного результата. Картина вышла сильная, и он знал это, знал без тени сомнения (так иногда бывает), и он даже не собирался показывать картину Джуду, пусть Джуд увидит ее, когда она уже будет висеть в какой-нибудь галерее, тогда он ничего не сможет с этим поделать. Он знал, что Джуд разозлится, увидев, до чего хрупким, до чего женственным, до чего юным и уязвимым он вышел на картине, и знал, что тот найдет еще сотню надуманных причин, чтоб придраться к своему изображению, таких причин, которые Джей-Би и в голову бы не пришли, потому что он не такой закомплексованный псих, как Джуд. Но для него эта картина олицетворяла все, чем и должен был по его замыслу стать проект, – это было любовное письмо, это был документ, это была сага, это все было его. Когда он работал над картиной, ему казалось, будто он взмывает вверх, будто мир с галереями, вечеринками, другими художниками и их амбициями сужается под ним до крохотной точки, делается таким маленьким, что можно отбросить его, будто футбольный мяч, одним ударом ноги и глядеть, как он, вертясь, улетает на какую-то дальнюю орбиту, до которой ему нет никакого дела.

Почти шесть. Свет скоро переменится. В студии пока что тихо, хоть Джей-Би и слышал, как вдалеке прогремела электричка. Перед ним был холст, холст ждал. Он взялся за кисть и начал рисовать.

В подземке были стихи. Над лунками пластмассовых сидений, между рекламой дерматологов и курсов дистанционного обучения, висели длинные заламинированные плакаты с поэзией: второсортный Стивенс, третьесортный Рётке и пятисортный Лоуэлл – фразы, которые никого не заденут за живое, ярость и красота, ужатые до пустых афоризмов.

Так, по крайней мере, считал Джей-Би. Он был против этой затеи со стихами. Они появились, когда он еще учился в школе, и он уже пятнадцатый год на них жаловался.

– Вместо того чтобы финансировать настоящее искусство и настоящих художников, они раздают деньги старым девам – библиотекаршам и педрилам в кардиганчиках, чтоб они сплошное говно выбирали! – орал он, стараясь перекрыть визжащие тормоза поезда на линии F. – Сплошную Эдну Сент-Винсент Миллей! А всех приличных – кастрировать. Кстати, заметил, что тут одни белые? Это, блядь, вообще как?

На следующей неделе Виллем увидел плакат со стихами Лэнгстона Хьюза и позвонил Джей-Би.

– Лэнгстона Хьюза?! – простонал Джей-Би. – Дай угадаю: «Что станется с несбывшейся мечтой?», верно? Так и знал! Такое говно не считается. И вообще, если б несбывшиеся мечты и вправду взрывались, это говно через секунду бы исчезло.

Сегодня перед Виллемом висит стихотворение Тома Ганна: «Они так и не пришли к решению / Считать ли их отношения – отношениями». Внизу кто-то приписал черным маркером: «Спокуха, чел, я тож давно не ебался». Он закрывает глаза.

Всего-то четыре часа, а он уже так устал, и это у него еще смена не началась. Не стоило вчера вечером ездить с Джей-Би в Бруклин, но с ним больше никто не хотел ехать, а Джей-Би говорил, что за Виллемом должок, он ведь в прошлом месяце сходил с Виллемом на тот дрянной моноспектакль его друга.

Пришлось пойти.

– Чья это группа? – спросил он, пока они ждали поезда в метро.

Пальто у Виллема было слишком тонким, одну перчатку он потерял, и поэтому, чтобы сберечь тепло, он засунул ладони под мышки и принялся покачиваться, как всегда делал, если приходилось стоять на холоде.

– Джозефа, – ответил Джей-Би.

– А, – сказал он.

Виллем понятия не имел, кто такой Джозеф. Он восхищался Джей-Би, который с виртуозностью, достойной Феллини, ориентировался в обширном круге своих знакомых, где все были пестро разряженными актерами массовки, а они с Джудом и Малкольмом – нужными, но все равно не самыми главными исполнителями его замысла, монтажерами или младшими художниками-постановщиками, которые без особых напоминаний с его стороны должны были следить, чтобы все шло своим чередом.

– Хардкор, – услужливо добавил Джей-Би, как будто это могло помочь Виллему вспомнить, кто такой Джозеф.

– И как эта группа называется?

– Тут вот какой приколы, – засмеялся Джей-Би. – Она называется «Подзалупный творожок 2».

– Как? – расхохотался Виллем. – «Подзалупный творожок 2»? Почему? И что случилось с «Подзалупным творожком 1»?

– Подхватил стафилококк! – проорал Джей-Би, перекрикивая шум приближающегося поезда. Стоявшая рядом пожилая женщина сердито на них покосилась.

Ну и конечно, «Подзалупный творожок 2» оказался так себе. Строго говоря, это был и не хардкор вовсе, скорее уж ска – тряский и сбивчивый. («У них что-то со звуком!») – проорал ему на ухо Джей-Би во время очередной затяжной песни «Phantom Snatch 3000». «Да, – прокричал он в ответ, – он у них херовый!») К середине концерта (казалось, будто они каждую песню играют минут по двадцать) Виллем, одурев от тесноты и абсурдной музыки, принялся неумело мошиться с Джей-Би, вдвоем они начали подпихивать соседей и тех, кто стоял рядом, и вскоре толкались уже все вокруг, правда, весело, словно кучка нетрезвых младенцев. Джей-Би ухватил его за плечи, и они хохотали, глядя друг на друга. Виллем совершенно обожал Джей-Би в такие минуты, обожал его умение и готовность вести себя глупо и легкомысленно, потому что ни с Малкольмом, ни с Джудом он так себя вести не мог – Малкольм говорил, конечно, что приличия его не волнуют, но это были только слова, а Джуд просто был серьезный.

Ну и конечно, утром он за это поплатился. Проснулся он в лофте у Эзры, в углу, на голом матрасе Джей-Би (сам Джей-Би смачно храпел на полу, уткнувшись в грудь затхлого белья) и не помнил даже, как они снова оказались на Манхэттене. Обычно Виллем не напивался и не накуривался, но в компании Джей-Би с ним такое иногда случалось. И как же поэтому хорошо было вернуться на Лиспенард-стрит, в чистоту и тишину (Джуд давно ушел), к косым лучам солнечного света, которые с одиннадцати утра и до часу дня пропекали его сторону спальни и уже били в окно. Виллем поставил будильник и мгновенно уснул, а проснувшись, наскоро принял душ, проглотил таблетку аспирина и помчался на работу.

Ресторан, в котором он работал, славился своей кухней – изысканной, но в то же время не слишком затейливой – и хорошо подобранным, приветливым персоналом. В «Ортолане» официантов просили быть радушными без фамильярности и дружелюбными без навязчивости. «У нас тут не „Френдлис“, – любил повторять Финдлей, его босс, управляющий рестораном. – Улыбайтесь, но представляться не надо». Таких правил в «Ортолане» было много. Например, сотрудницам запрещалось носить какие-либо украшения, кроме обручальных колец. Мужчинам запрещено было отпускать волосы, разрешенная длина – до мочек ушей. Никакого лака на ногтях. Бороду – нельзя, щетина – максимум двухдневная. Насчет усов, как и насчет татуировок, решения принимались индивидуально.

Виллем работал официантом в «Ортолане» уже почти два года. До «Ортолана» он обслуживал две смены – обед по будням и бранч по выходным – в шумном и популярном ресторане в Челси, который назывался «Телефончик». Посетители ресторана (чаще всего мужчины, чаще всего немолодые, лет по сорок как минимум) спрашивали, можно ли заказать его, а затем озорно и самодовольно хихикали, будто первыми додумались это спросить и он не слышал этого вопроса уже в одиннадцатый или двенадцатый раз только за текущую смену. Но даже в таких случаях он улыбался и говорил: «Только вприглядку», а они отвечали: «Но я бы хотел чего-нибудь посущественнее», и тогда он снова улыбался, и они оставляли ему щедрые чаевые.

Его друг и однокурсник по имени Роман, тоже актер, порекомендовал его Финдлею, после того как сам ушел из ресторана, получив небольшую роль второго плана в мыльной опере. (Он сказал Виллему, что сомневался, стоило ли на это подписываться, но что тут будешь делать? От таких денег не отказываются.) Виллем был благодарен за рекомендацию, потому что «Ортолан» славился не только кухней и обслуживанием, но и – хоть и не в таком широком кругу ценителей – своим гибким графиком, особенно если ты понравишься

Финдлею. Финдлею нравились маленькие плоскогрудые брюнетки, а мужчины – какие угодно, главное, чтобы были высокие, худые и, если верить слухам, лишь бы не азиаты. Виллем иногда останавливался у дверей на кухню и наблюдал за тем, как разнокалиберные пары – миниатюрные темноволосые официантки и долговязые тощие парни – кружились по главному залу, скользя друг мимо друга, будто бестолково подобранные танцоры в менюэтах.

Не все официанты в «Ортолане» были актерами. Точнее, не все в «Ортолане» так и оставались актерами. Были в Нью-Йорке такие рестораны, где люди из актеров, подрабатывающих официантами, каким-то образом превращались в официантов, некогда подрабатывавших актерами. И если ресторан был нормальный, приличный, такая смена карьеры считалась не просто приемлемой, а даже предпочтительной. Официант в хорошем ресторане мог помочь друзьям с бронью столика, мог уболтать кухонный персонал, чтобы те расщедрились на бесплатную еду для этих же друзей (хотя Виллем убедился, что уболтать кухонный персонал куда сложнее, чем ему казалось). Но чем мог помочь своим друзьям актер, который подрабатывал официантом? Раздобыть билеты на очередную экспериментальную постановку, куда надо приходиться со своим костюмом, потому что ты играешь брокера, который то ли зомби, то ли не зомби, а на костюмы денег все равно нет? (Именно это и случилось в прошлом году, когда ему пришлось одалживать деловой костюм у Джуда, потому что своего у него не было. Ноги у Джуда были длиннее примерно на дюйм, поэтому, пока он играл в пьесе, штанины приходилось подворачивать и подклеивать изнутри малярным скотчем.)

Актеров в «Ортолане» было нетрудно отличить от бывших актеров, которые теперь делали карьеру официанта. Официанты, например, были постарше и с придирчивой дотошностью следили за соблюдением всех Финдлеевых правил, а когда весь персонал собирался за ужином, они демонстративно крутили бокалы с вином, которое им наливал на пробу помощник сомелье, и говорили что-нибудь вроде: «Немного напоминает пти сира Линн Калодо, который ты на прошлой неделе подавал, верно, Хосе?» или «Какая-то минеральность во вкусе, вам не кажется? Это что, Новая Зеландия?» Само собой, на свои постановки таких не звали, приглашать можно было только таких же актеров-официантов, и если они приглашали тебя, нужно было хотя бы постараться сходить, это считалось хорошим тоном – ну и конечно, никаких агентов, никакие прослушивания, ничего такого ты с ними не обсуждал. Актерство было войной, а они – ветеранами. Они не желали вспоминать о войне и уж точно не желали разговаривать о ней с юнцами, которые всё рвались в окопы, всё радовались, что попали на фронт.

Финдлей и сам когда-то был актером, но, в отличие от других бывших актеров, он любил рассказывать – впрочем, «любил», наверное, будет не самым подходящим словом, вернее всего будет просто «рассказывал» – историю своей жизни, ну или какую-то ее версию. Если верить Финдлею, то однажды он почти, почти получил главную роль второго плана в пьесе «Светлая комната под названием день», которую ставил Публичный театр (потом одна официантка рассказала им, что все серьезные роли в этой пьесе – женские). Он был во втором составе какой-то бродвейской постановки (какой именно, он никогда не уточнял). Финдлей был ходячим *memento mori* актерской карьеры, назидательной притчей в сером шерстяном костюме, и актеры-официанты либо избегали его, словно его участь была заразной, либо внимательно к нему приглядывались, как будто надеялись себя обеззаразить тесным контактом.

Но когда именно Финдлей решил забросить актерскую карьеру и как это случилось?

Просто возраст подошел? Он ведь все-таки был старый – лет сорок пять, а то и пятьдесят, где-то так. И как понять, что все – пора сдаваться? Когда тебе, например, тридцать восемь, а ты до сих пор не обзавелся агентом (как, похоже, вышло с Джоэлом)? Или когда тебе сорок, а ты так и снимаешь квартиру на двоих с другом и официантом на полставки заработал больше, чем за весь тот год, когда решил полностью сосредоточиться на актерской карьере (как было с Кевином)? Или когда ты толстеешь, лысеешь или делаешь неудачную пластическую операцию, которая никак не может замаскировать того, как ты толстеешь и лысеешь? Когда упорная погоня за мечтой перестает быть храбростью и становится безрассудством? Как понять, что пора остановиться? В прежние времена – более строгие, отрезвляющие (но от которых в результате было куда больше толку) – все было гораздо проще: ты завязывал со всем в сорок, или после свадьбы, или когда появлялись дети, или через пять, через десять или пятнадцать лет. Тогда ты устраивался на настоящую работу, а все твои мечты об актерской карьере тускнели и становились историей, растворяясь в ней так же незаметно, как кубик льда в горячей ванне.

Но сейчас настала эра самореализации, сейчас довольствоваться тем, к чему душа изначально как-то не лежала, – мелко и слабохарактерно. Теперь в том, чтобы покориться судьбе, нет ничего достойного, теперь это считается трусостью. Иногда казалось, что тебя почти физически принуждают быть счастливым, как будто счастливым может и должен быть каждый, и если в поисках счастья ты вдруг решишь чем-нибудь поступиться, то вроде как сам же и будешь в этом виноват. Будет ли Виллем и дальше год за годом работать в «Ортолане», ездить в одних и тех же электричках на прослушивания, снова, и снова, и снова зачитывать какие-то реплики, ради того, чтобы когда-нибудь по-черепашьи проползти вперед на дюйм-другой, но сдвиг будет таким ничтожным, что его и сдвигом-то не назовешь? И хватит ли у него тогда смелости сдать, сумеет ли он вовремя остановиться или, проснувшись однажды, взглянет на себя в зеркало и поймет, что он старик, который упорно зовет себя актером, потому что когда-то побоялся признать, что он не актер и никогда им не будет?

Джей-Би говорил, что Виллему мешает стать знаменитым сам Виллем. Джей-Би любил читать ему нотации, которые он обычно начинал с фразы: «Мне бы твою внешность, Виллем...», а заканчивал так: «Ты избалован вниманием, Виллем, ты привык, что тебе все само плывет в руки, и думаешь теперь, что и тут все как-нибудь само собой образуется. Но знаешь что? Ты, конечно, красавец, но тут все красавцы, так давай-ка уже, поднапрягись!»

Виллем, конечно, думал, что из уст Джей-Би это звучит по меньшей мере комично (это он-то избалованный? Да пусть на женщин своих посмотрит, которые над ним кудахчут, закармливают любимой едой, наглаживают ему рубашки, окружают плотным облаком любви и комплиментов: однажды Виллем подслушал, как Джей-Би звонит матери и просит постирать ему трусов побольше, он их заберет, когда приедет в воскресенье ужинать, и, кстати, на ужин он хочет ребрышки), но в то же время он понимал, что Джей-Би имеет в виду. Он знал, что он не лентяй, но, по правде сказать, он и не был таким честолюбивым, как, например, Джей-Би с Джудом, не было в нем того мрачного, ожесточенного упрямства, из-за которого они засиживались дольше всех в студии или офисе, из-за которого взгляд у них делался слегка отсутствующим – Виллему всегда казалось, что какая-то их частица уже живет в этом их воображаемом будущем и очертания этого будущего пока что видны только им одним. И честолюбие Джей-Би держалось на том, как он рвался в это будущее, как страстно его желал, а Джуд, думал Виллем, скорее боялся, что если не будет двигаться

вперед, то обязательно скатится назад, к прошлой жизни, о которой он ничего им не рассказывал. Эти качества были присущи не только Джуду с Джей-Би: Нью-Йорк был населен честолюбивыми людьми. Зачастую только одна эта черта и объединяла его жителей.

Амбиции и атеизм: «Я исповедую только честолюбие», – как-то поздно вечером, за пивом, сообщил ему Джей-Би, и хотя Виллему эта реплика показалась слишком уж гладкой, словно Джей-Би ее репетировал, изо всех сил стараясь отшлифовать безыскусную небрежность фразы, чтобы когда-нибудь произнести ее всерьез в интервью, он также знал, что Джей-Би говорит искренне. Только здесь ты начинал думать, будто карьерой можно оправдать почти любое безумие, только здесь приходилось оправдываться за то, что веришь во что-то кроме себя.

Здесь ему вечно казалось, будто он не понимает чего-то важного и из-за своей глупости навеки обречен работать в «Ортолане». (Он и в колледже твердо верил, что он – самый тупой ученик в классе, которого туда приняли, чтобы политкорректно выполнить квоту по белым чудаковатым деревенским парням.) Он думал, что и другим тоже так казалось, хотя по-настоящему беспокоило это, похоже, одного Джей-Би.

«Я, Виллем, иногда не знаю даже, что про тебя думать», – однажды сказал ему Джей-Би, и по его тону было ясно, что ничего хорошего Джей-Би подумать не мог. Разговор этот состоялся у них в конце прошлого года, вскоре после того, как Меррит, бывший сосед Виллема по комнате, получил одну из двух ведущих ролей в экспериментальной постановке «Однажды в Калифорнии». Вторая главная роль досталась актеру, который недавно снялся в инди-фильме, собравшем хорошие отзывы, и теперь в его карьере наступил тот недолгий, но приятный период, когда у него появилась и артхаусная известность, и перспектива более мейнстримного успеха. Режиссер (с которым Виллем очень хотел поработать) пообещал, что на одну из главных ролей возьмет неизвестного актера. Он и взял – только этим неизвестным актером оказался Меррит, а не Виллем. До финального прослушивания дошли оба.

Его друзей это страшно возмутило. «Да Меррит даже играть не умеет, – стонал Джей-Би. – Он просто стоит на сцене, звездит и думает, что этого достаточно». Трое друзей Виллема стали вспоминать, когда они последний раз видели Меррита на сцене – в авангардистском театрике на постановке «Травиаты», где все роли исполняли мужчины, а действие было перенесено в восьмидесятые, на Файр-Айленд (Виолетту, которую играл Меррит, переименовали в Виктора, и умер он от СПИДа, а не от чахотки), – и все сошлись на том, что смотреть на это было невыносимо.

– Ну, он и впрямь хорош собой, – вяло защищал Виллем бывшего соседа по квартире.

– До тебя ему далеко! – сказал Малкольм до того запальчиво, что все удивились.

– Виллем, у тебя все получится, – утешал его Джуд, когда они возвращались домой после ужина. – Если в мире есть хоть капелька справедливости, все у тебя получится. А этот режиссер – придурок.

Джуд никогда не винил Виллема в его промахах, зато Джей-Би винил его всегда. Что хуже, Виллем и сам не знал.

Конечно, он был признателен друзьям за их возмущение, но, по правде сказать, сам не считал Меррита таким уж плохим актером. Он уж точно был ничем не хуже Виллема, а может, даже и лучше. Так он потом и сказал Джей-Би, который, услышав это, сначала долго и неодобрительно молчал, а потом принялся читать Виллему нотацию.

– Я, Виллем, иногда даже не знаю, что про тебя и думать, – начал он. – Иногда мне кажется, будто ты вообще не хочешь быть актером.

– Неправда, – возразил он. – Просто я не считаю каждый отказ чепухой и не думаю, что если кто-нибудь меня обошел, то это потому, что ему просто повезло.

Джей-Би снова замолчал.

– Слишком ты добрый, Виллем, – наконец мрачно сказал он. – Так ты ничего не добьешься.

– Ну спасибо, Джей-Би, – ответил он.

Он редко обижался на Джей-Би, потому что тот частенько оказывался прав, но именно тогда Виллему не очень хотелось выслушивать, что именно Джей-Би думает о его недостатках и какое мрачное будущее его ждет, если он полностью себя не переделает. Он повесил трубку и долго не мог заснуть, чувствуя, что зашел в тупик, и жалея себя.

Но как бы там ни было, а переделать себя он никак не мог – да и не поздно ли уже меняться? Ведь до того, как вырасти в доброго мужчину, Виллем был добрым мальчиком. Это все отмечали: учителя, одноклассники, родители одноклассников. «Виллем – очень отзывчивый ребенок», – писали учителя в его табелях, в табелях, на которые его мать с отцом взглядывали всего раз, мельком, не говоря ни слова, после чего засовывали их в стопку газет и пустых конвертов, а потом относили все в пункт приема макулатуры. Став постарше, Виллем понял, что его родители удивляли и даже огорчали окружающих, а как-то раз, в старших классах, учитель, не сдержавшись, заметил, что, зная характер Виллема, представлял себе его родителей совсем другими.

– Другими – какими? – спросил он.

– Более дружелюбными, – ответил учитель.

Сам Виллем не считал себя каким-то особенно великодушным или очень уж добрым человеком. Обычно ему все давалось легко: спорт, учеба, дружба, девчонки. И это не значит, что он был со всеми мил – никому в друзья он не лез и не выносил грубости, мелочности и подлости. Он знал, что он скромный, трудолюбивый и усердный – но далеко не гений. «Знай свое место», – то и дело твердил ему отец.

Отец его свое место знал. Виллем помнил, как однажды из-за заморозков поздней весной на местных фермах погибло много ягнят и журналистка брала у отца интервью для материала о том, как это отразится на фермерах.

– Вот вам как фермеру... – начала было журналистка, но отец Виллема оборвал ее.

– Я не фермер, – сказал он. Акцент у него был такой, что слова эти – как и каждое его слово – прозвучали куда отрывистее, чем он их сказал. – Я работаю на ферме.

Разумеется, он был прав. Слово «фермер» означало нечто конкретное – землевладельца, – и в этом смысле фермером он не был. Но тогда в их округе куча народу не имела права называться фермерами, а они все равно так себя называли. Виллем ни разу не слышал, чтоб отец их за это осуждал – отцу было все равно, что там делали или не делали окружающие, – но ни он сам, ни его жена, мать Виллема, себе таких приукрашиваний позволить не могли.

Наверное, поэтому ему и казалось всегда, что он все о себе давно понял, и даже по мере того, как расстояние между ним и фермой его детства росло и ширилось, он все равно не чувствовал никакой нужды в том, чтобы перекраивать и переделывать себя. Он и в колледже был гостем, и в университете, и вот теперь оказался гостем в Нью-Йорке, в жизни богатых и красивых людей. Он ни за что не стал бы притворяться, будто все это может принадлежать ему по праву, потому что знал – ничего ему не принадлежит. Он был родом из западного Вайоминга, его отец работал на ферме, и если Виллем оттуда и уехал, это вовсе не значит,

что его прошлое разом испарилось, что время, опыт и близость к деньгам разом это прошлое переписали.

У родителей он был четвертым ребенком и единственным, кто выжил. Первой была девочка, Бритте, которая в два года умерла от лейкемии, задолго до того, как Виллем появился на свет. Это случилось в Швеции, где его отец – исландец, работавший в рыболовном хозяйстве, – познакомился с его матерью, датчанкой. Затем они перебрались в Америку, где у них родился сын, Хемминг, который был болен ДЦП. Через три года появился сын Аксель – он умер еще младенцем, во сне, и никто так и не понял, от чего именно.

Когда родился Виллем, Хеммингу было восемь. Он не мог ни ходить, ни разговаривать, но Виллем любил его, для него он всегда оставался старшим братом. Хемминг, правда, умел улыбаться, и, улыбаясь, он подносил руку к лицу, растопыривая пальцы утиным клювом и растягивая губы, за которыми виднелись воспаленно-розовые десны. Виллем выучился ползать, потом ходить, потом бегать, а Хемминг год за годом так и сидел в кресле, и когда Виллем подрос и окреп, он принялся таскать Хемминга в кресле на неповоротливых колесах с толстыми резиновыми шинами (предполагалось, что человек в этом кресле будет сидеть, а не ездить по траве и грязи) по всей ферме, вокруг деревянного домика, где они жили с родителями. На холме перед их домом возвышалась усадьба – вытянутая, приземистая, с широкой террасой, огибавшей все здание, а если пойти вниз по дороге, можно было попасть на конюшни, где работали их родители. Пока Виллем учился в школе, он был Хеммингу и сиделкой, и компаньоном. По утрам он первым вставал, варил родителям кофе и кипятил воду для Хемминговой овсянки, а по вечерам выходил на дорогу встречать фургон, в котором его брата привозили из дневного пансионата для инвалидов, находившегося в часе езды от их дома. Виллем всегда думал, что они с братом очень похожи – у обоих были блестящие светлые волосы, такие же, как и у родителей, и глаза у обоих были серыми, как у отца, и у обоих в левом уголке рта была длинная впадинка-скобка, из-за которой вид у них был такой, будто их все забавляет и они вот-вот улыбнутся, – но кроме него этого сходства никто не замечал. Люди видели только коляску Хемминга, и влажно-красный овал его вечно раскрытого рта, и его глаза, которые чаще всего глядели куда-то в небо, следя за видимым одному ему облаком.

– Что ты там видишь, Хемминг? – иногда спрашивал Виллем брата во время их вечерних прогулок, но Хемминг, разумеется, никогда ему не отвечал.

Родители с Хеммингом управлялись расторопно и умело, но, как понимал Виллем, без особой любви. Когда Виллем задерживался в школе – на футбольном матче или забеге – или когда ему нужно было сверхурочно поработать в местном супермаркете, мать встречала Хемминга у дороги, затаскивала его в ванну и потом вытаскивала оттуда, мать кормила его ужином – рисовой кашей с курицей – и меняла ему подгузник, перед тем как уложить в кровать. Но она не читала ему, не разговаривала с ним и не гуляла с ним так, как делал Виллем. Его беспокоило отношение родителей к Хеммингу – упрекнуть их было не в чем, однако Виллем чувствовал, что они считают себя в ответе за Хемминга, но не более того. Потом он еще будет себя уверять, что глупо было бы ждать от них чего-то еще, что это было бы чудом. Но все равно. Виллему хотелось бы, чтобы они больше любили Хемминга, чуть-чуть побольше.

(Хотя, как знать, может, он слишком много хотел, когда просил их любви. Они столько детей потеряли, что, возможно, попросту не желали или не могли полностью посвятить себя тем, кто выжил. Ведь в конце концов они с Хеммингом тоже их покинут, не

важно, по собственной воле или нет, и тогда они потеряют их всех. Но эта мысль пришла ему в голову только спустя много-много лет.)

Когда Виллем был на втором курсе колледжа, Хеммингу пришлось срочно вырезать аппендикс. «Говорят, как раз вовремя успели», – сообщила ему по телефону мать. Говорила она безучастно, очень деловито, и в ее голосе не слышалось ни тревоги, ни облегчения – впрочем, не слышалось в нем (пусть и не хочется, и страшно об этом думать, но подумать все же пришлось) и разочарования.

Сиделка Хемминга, местная жительница, которой после отъезда Виллема они платили за ночные дежурства, заметила, что он шлепает себя по животу и стонет, и, нащупав у него в боку под ребрами твердый грибообразный узелок, сумела распознать аппендицит. Во время операции врачи обнаружили на толстой кишке небольшой нарост, длиной в пару сантиметров, и сделали биопсию. После рентгена выяснилось, что таких наростов несколько, и врачи собирались их тоже вырезать.

– Я приеду, – сказал он.

– Не надо, – сказала мать. – Ты тут ничем не сможешь. Если там что-то серьезное, мы тебе скажем.

Когда Виллем сообщил им с отцом, что его зачислили в колледж, они были пожалуй что огорошены – они даже не знали, что он подавал документы, но когда он уехал учиться, они твердо решили, что он обязательно должен получить диплом и поскорее выкинуть ферму из головы.

Но он всю ночь думал о Хемминге, как он лежит там один на больничной койке, как ему страшно, как он плачет и прислушивается, не раздастся ли голос Виллема. В двадцать один год Хеммингу удалили грыжу, и он перестал плакать, только когда Виллем взял его за руку. Он знал, что должен поехать домой.

Билеты на самолет стоили дорого, гораздо дороже, чем он думал. Он стал прикидывать, можно ли добраться на автобусах, но тогда он потратит три дня на дорогу туда и три дня на дорогу обратно, а тут как раз середина семестра и экзамены, которые нужно сдать, и сдать хорошо, иначе он потеряет стипендию, и подработку тоже надолго не оставишь. В конце концов, напившись в пятницу вечером, он рассказал обо всем Малкольму, и тот вытащил чековую книжку и выписал ему чек.

– Я так не могу, – сразу отказался он.

– Это почему? – спросил Малкольм.

Они долго препирались, пока наконец Виллем не взял чек.

– Я все верну, ты мне веришь?

Малкольм пожал плечами:

– Свинство, конечно, с моей стороны так говорить, – сказал он, – но я этого даже не замечу.

Но Виллем решил, что обязательно придумает, как вернуть Малкольму долг, хоть и знал, что Малкольм у него денег ни за что не возьмет. Джуд посоветовал ему класть деньги Малкольму прямо в бумажник, и поэтому раз в две недели Виллем, обналичив зарплатный чек из ресторана, где работал по выходным, засовывал туда две-три двадцатки, пока Малкольм спал. Он даже не знал, замечал ли это Малкольм – тот тратил деньги очень быстро и часто платил за всех, – но Виллем все равно был очень доволен и горд собой.

Тем временем надо было что-то делать с Хеммингом. Виллем был рад, что съездил домой (мать только вздохнула, когда он сказал, что приедет), и рад был повидать Хемминга,

хоть и ужаснулся тому, как он исхудал и как он стонал и плакал, когда медсестры пальпировали ему живот вокруг швов, – Виллем сидел, вцепившись в стул обеими руками, изо всех сил сдерживаясь, чтобы на них не наорать. По вечерам он ужинал с молчавшими родителями и почти ощущал, как они отстраняются от него, как будто бы сдирают с себя жизнь, в которой они были родителями двоих детей, и готовятся принять какое-то другое, новое обличье.

На третий вечер он взял ключи от машины и поехал в больницу. Это на востоке уже наступила ранняя весна, здесь же темный воздух, казалось, сверкал от мороза, а по утрам трава покрывалась тонкой хрустальной кожицей.

Когда он уходил, на крыльцо вышел отец.

– Он уже спит, – сказал он.

– Я просто хочу к нему съездить, – сказал Виллем.

Отец взглянул на него.

– Виллем, – сказал он, – он не поймет, приезжал ты или нет.

Он почувствовал, как кровь прилила к лицу.

– Я знаю, что вам на него насрать, – прошипел он, – но мне – нет.

Он первый раз в жизни выругался при отце и на мгновение застыл, с ужасом и отчасти с восторгом ожидая, вдруг отец ему ответит, вдруг у них выйдет спор. Но отец только отхлебнул кофе, развернулся и ушел в дом, тихонько прихлопнув за собой дверь-сетку.

И все оставшееся время они вели себя точно так, как и прежде, – все поочередно дежурили у Хемминга в больнице, а вернувшись оттуда, Виллем помогал матери с бухгалтерией или отцу на конюшнях, где тот следил за переподковкой лошадей. По вечерам он возвращался в больницу и готовился к экзаменам. Он читал Хеммингу вслух «Декамерон», а Хемминг лежал, уставившись в потолок и моргая. Он продирался сквозь задания по матанализу, но решал их с тоскливой уверенностью, что все делает неправильно. Они привыкли, что математику за всех троих делал Джуд, который щелкал задачки так быстро, будто брал арпеджио. Когда они учились на первом курсе, Виллем искренне хотел сам во всем разобраться, и Джуд на протяжении нескольких вечеров старательно ему все растолковывал, но он так и не сумел ничего понять.

– Мне этого никогда не понять, я слишком тупой, – сказал он однажды после занятия, которое показалось ему многочасовым, – под конец Виллему хотелось только одного: выскочить на улицу и долго-долго бежать, так его трясло от раздражения и досады.

Джуд опустил глаза.

– Ты не тупой, – тихо сказал он. – Просто я не очень хорошо объясняю.

Джуд ходил на семинары по высшей математике, куда попасть можно было только по приглашению, – остальные даже и не пытались понять, чем именно он там занимался.

Теперь же удивительным казалось только то, что он вообще удивился, когда три месяца спустя ему позвонила мать и сообщила, что Хемминг в реанимации, его подключили к аппарату искусственного дыхания. Был конец мая, экзаменационная сессия в разгаре. «Не приезжай, – сказала она ему, приказала даже. – Не надо, Виллем». С родителями он говорил по-шведски, и только через много лет, когда шведский режиссер, у которого Виллем снимался, отметил, каким безжизненным голосом он говорит на этом языке, Виллем понял, что, сам того не замечая, в разговоре с родителями подлаживался под их тон и начинал говорить как они, сухо и безучастно.

Следующие несколько дней он ходил сам не свой, экзамены сдавал кое-как:

французский, сравнительное литературоведение, якобинская драма, исландские саги, ненавистный матанализ – все смешалось в кучу. Он затеял ссору с подружкой, которая была старше его и заканчивала колледж. Она расплакалась, он знал, что виноват, и знал, что не в силах ничего исправить. Мысленно он был в Вайоминге, представлял себе аппарат, который сплевывает жизнь в легкие Хемминга. Ему ведь надо поехать домой? Он должен поехать домой. Надолго не получится: пятнадцатого июня они с Джудом съезжали из общежития на лето и перебирались в съемное жилье, им обоим удалось найти работу в городе, Джуд по будням будет работать секретарем у профессора классической филологии, а по выходным – в кондитерской, где он подрабатывал и во время учебы. Виллем будет помощником преподавателя в школе для детей-инвалидов, но перед этим все четверо собирались в Аквинну, на Мартас-Виньярд, и погостить в доме родителей Малкольма, после чего Малкольм и Джей-Би на машине возвращались в Нью-Йорк. По вечерам он звонил Хеммингу в больницу, просил родителей или медсестер поднести трубку к его уху и разговаривал с братом, хотя и понимал, что тот, скорее всего, его не слышит. Но как тут было не попытаться?

А потом, через неделю, утренний звонок от матери – Хемминг умер. Он не смог ничего сказать. Не смог спросить, почему она не сообщила ему, что дела обстоят так плохо, потому что в глубине души всегда знал: она не сообщит. Не смог пожалеть о том, что его с ними не было, потому что знал: на это она ничего не ответит. Не смог спросить, как она, потому что ни один ее ответ его не устроит. Ему хотелось наорать на родителей, ударить их, вытрясти из них хоть что-то – чтоб горе хоть немного сломило их, чтоб они хоть ненадолго утратили самообладание, чтобы хоть как угодно, но признали, что случилось нечто огромное, что со смертью Хемминга они потеряли что-то важное и нужное в жизни. И ему было наплевать, прочувствуют они это на самом деле или нет, ему нужно было, чтобы они это сказали, нужно было ощутить, что под их непроницаемым спокойствием есть хоть что-нибудь, что у них где-нибудь внутри все-таки бежит тоненький, быстрый, прохладный ручеек, полный хрупких жизней, мелкой рыбешки, травы и крохотных белых цветов, таких нежных, ломких, уязвимых, что на них нельзя взглянуть без боли.

Тогда он не сказал друзьям о Хемминге. Они поехали к Малкольму – дом стоял в красивом месте, ничего красивее Виллем и не видел никогда и уж тем более ни разу в таком месте не жил, – и по ночам, когда все засыпали в отдельных кроватях, в отдельных комнатах с отдельными ванными (такой это был большой дом), он тихонько выбирался наружу и часами бродил по дорожкам, которые паутиной окружали дом, и луна была такой огромной и яркой, словно ее сделали из какой-то замерзшей жидкости. Во время этих прогулок он изо всех сил старался ни о чем не думать. Вместо этого он сосредоточивался на том, что видел, подмечая ночью все, что ускользало от него днем: какая мягкая тут земля, почти как песок, как она вспархивает у него из-под ног крохотными струйками, как в кустах, мимо которых он проходит, бесшумно, тоненькими ленточками, мелькают коричнево-коричневые змеи. Он доходил до океана, и луна над ним исчезала, скрывалась в лохмотьях облаков, и несколько мгновений он не видел воды, только слышал ее, и небо от влаги делалось плотным и теплым, как будто сам воздух здесь был гуще, существеннее.

Может быть, так оно и бывает, когда умрешь, подумал он и понял, что, кажется, это не так уж и плохо, и ему стало полегче.

Он боялся, что ему трудно будет провести все лето с детьми, которые могли напомнить ему Хемминга, но оказалось, это очень хорошо и даже полезно. В его классе было семеро учеников, всем лет по восемь, все с серьезными проблемами, передвигаться самостоятельно

не мог никто, но, хотя большая часть дня у него вроде бы уходила на то, чтобы научить их различать цвета и формы, на самом деле он почти все время с ними играл: читал им, возил по школьному парку, щекотал перышками. На переменах двери всех школьных кабинетов открывались, и главный двор заполнялся детьми в таких хитроумных устройствах на колесах, в креслах и колясках, что казалось, будто его заполонили механические насекомые, которые поскрипывали, жужжали и щелкали все разом. Здесь были дети в инвалидных креслах и дети на мини-мопедах, которые, подпрыгивая и постукивая, катились по плиткам с черепашьей скоростью, здесь были дети, пристегнутые к длинным, гладким доскам на колесиках, напоминавшим укороченные доски для серфинга, и дети, которые ползали по земле, подтягиваясь на обмотанных культах, и дети без каких-либо средств передвижения, которые просто сидели на коленях воспитателей, а те придерживали им головы. Такие больше всего напоминали ему о Хемминге.

Некоторые дети, из тех, что ездили на мопедах и досках с колесиками, могли говорить, и Виллем очень осторожно перебрасывался с ними большими пенопластовыми мячами и устраивал им забеги во дворе. Каждый забег начинался с того, что он бежал впереди всех детей, передвигаясь широкими, нарочито медленными скачками (но не настолько нарочитыми, чтобы это выглядело совсем уж смешно: он хотел, чтобы они думали, будто он и впрямь с ними бежит), но в какой-то момент, обычно, когда они пробегали где-то треть пути, он притворялся, будто споткнулся обо что-то, и картинно шлепался на землю, и дети с хохотом проезжали мимо него. «Вставай, Виллем, вставай!» – кричали они, и он вставал, но к этому моменту они все уже успевали приехать к финишу, и он приходил последним. Иногда он думал, не завидуют ли дети тому, с какой легкостью он может упасть и снова встать, и если завидуют, не стоит ли ему перестать так делать, но когда он спросил об этом своего начальника, тот только взглянул на Виллема и сказал, что детей он веселит и чтоб падал дальше. И поэтому он каждый день падал, и каждый вечер, пока они с учениками ждали родителей, которые забирали их из школы, умевшие разговаривать дети спрашивали его, упадет ли он и завтра. «Ни за что! – уверенно отвечал он хихикавшим детям. – Вы что, смеетесь надо мной? Думаете, я и вправду такой неуклюжий?»

Во многом то было прекрасное лето. Их квартира находилась рядом с Массачусетским технологическим институтом, владельцем ее был профессор, который преподавал у Джуда математику: сам он на лето уехал в Лейпциг, а с них брал такую маленькую арендную плату, что они оба стали понемножку ремонтировать его жилье, чтобы хотя бы таким образом выразить свою благодарность. Джуд рассортировал книги, покосившиеся стопки которых торчали небоскребами на каждом шагу, грозя вот-вот рухнуть, и ошпаклевал вздувшийся от сырости кусок стены. Виллем подкрутил дверные ручки, поменял прокладки в подтекающих кранах, заменил клапан в бачке унитаза. Он начал встречаться с девушкой, которая училась в Гарварде и тоже работала ассистенткой преподавателя в его школе, и по вечерам она иногда заходила к ним, они готовили огромный котелок спагетти с мидиями, а Джуд рассказывал им, что профессор, у которого он работал, решил общаться с ним только на латыни или древнегреческом, даже когда речь шла о просьбах вроде «У меня закончились зажимы для бумаги» и «Не забудь завтра утром попросить, чтобы мне в капустино долили двойную порцию соевого молока». В августе в город стали возвращаться их друзья и знакомые (не только из их колледжа, но и из Гарварда, МТИ, Уэллсли и Тафтса), которые зависали у них на пару дней, перед тем как перебраться в общежитие или на съемную квартиру. Однажды вечером, незадолго до того, как им самим уже настала пора съезжать с квартиры, они

пригласили в гости человек пятьдесят и устроили пикник на крыше. Они помогли Малкольму запечь на гриле под влажными банановыми листьями гору мидий и кукурузных початков. На следующее утро они вчетвером собирали с пола ракушки, забрасывая их в мешки для мусора и с удовольствием слушая их кастаньетный перестук.

Но тем же летом он понял, что больше не вернется домой, – как-то так вышло, что без Хемминга им с родителями больше не нужно было притворяться, будто они должны держаться вместе. Подспудно он чувствовал, что и родители думают так же: они никогда об этом не разговаривали, но и у него теперь не было особой нужды к ним ехать, и они его не звали. Время от времени они перезванивались, вели неизменные – вежливые, будничные, обязательные – беседы. Он спрашивал их о ферме, они его – об учебе. На последнем курсе он сыграл в студенческой постановке «Стеклянного зверинца» (разумеется, ему досталась роль визитера), но об этом он родителям даже не стал рассказывать, и когда сказал, что на церемонию вручения дипломов им приезжать совершенно необязательно, они спорить не стали – впрочем, на ферме как раз подходила к концу выжеребка кобыл, и он не знал, смогли бы они приехать или нет, даже если бы он их об этом попросил. На выходные их с Джудом приютили семьи Малкольма и Джей-Би, но их и без того все наперебой звали на праздничные обеды, ужины и пикники.

«Но они же твои родители! – примерно раз в год говорил ему Малкольм. – Ты не можешь вот так просто перестать с ними общаться». Но вот тому живое доказательство: он смог, он перестал. Как и всякие отношения, думал он, отношения с родителями тоже требуют постоянного ухода, упорства и внимания, но если ни одна из сторон не желает себя этим утруждать, отчего бы отношениям не зачахнуть? И поэтому он скучал только по Хеммингу и еще по самому Вайомингу – по его бескрайним просторам, по деревьям с такой темной зеленью, что она казалась синей, по сахарно-навозному, яблочно-торфяному запаху лошадей, которых вычистили перед сном.

Родители умерли в один год, когда он учился в магистратуре: отец в январе, от инфаркта, мать – в октябре, от инсульта. Тогда он приезжал домой – родители, конечно, были немолоды, но, только увидев, до чего они усохли, он вспомнил, какими живыми, какими неутомимыми они были всегда. Они все завещали ему, но, расплатившись с долгами (тут ему снова сделалось не по себе, он ведь был уверен, что лечение и уход покрывала страховка, но теперь узнал, что и через четыре года после смерти Хемминга родители по-прежнему каждый месяц выплачивали больнице огромные суммы), он остался почти ни с чем: немного наличных, какие-то облигации, серебряная кружка с толстым дном, принадлежавшая его давно умершему деду по отцовской линии, черно-белый снимок Аксея с Хеммингом, которого он раньше никогда не видел. Это и еще кое-какие вещи он оставил себе. Фермер, нанявший его родителей на работу, сам давно умер, и теперь фермой владел его сын, который к родителям Виллема всегда относился хорошо, – они проработали у него гораздо дольше, чем по идее должны были, и он же оплатил их похороны.

Только когда они умерли, Виллем сумел вспомнить, что все-таки любил их, что они научили его многим вещам, которыми он теперь дорожил, и что они никогда не требовали от ничего непосильного и невозможного. В минуты нетерпимости (сколько их было всего каких-нибудь пару лет назад!) он считал их безразличие, их безучастное принятие того, кем он там хочет или не хочет быть, простым отсутствием интереса: что это за родители, однажды сочувственно-завистливо спросил его Малкольм, которые и слова не скажут, когда единственный ребенок (потом он извинился) сообщает им, что собирается стать актером?

Но теперь, повзрослев, он оценил наконец, что они никогда не давали ему понять, будто он им что-то должен – свой успех, свою преданность, свою любовь или даже верность. Он знал, что отец в Стокгольме попал в какую-то передрагу – он так и не узнал, в чем было дело – и отчасти из-за этого родители и перебрались в Штаты. Они бы никогда не потребовали, чтобы он был как они, они и сами не очень-то хотели быть собой.

Вот так началась его взрослая жизнь, и последние три года он бултыхался в илистом пруду, болтаясь от берега к берегу, и деревья вокруг нависали над ним, заслоняли свет, так что было не разглядеть, впадала ли в это его озерцо река или оно было закрытым, крошечным мирком, где он мог проплавать годы и десятилетия – всю свою жизнь, – слепотыкаясь во все стороны в поисках выхода, которого нет, которого там не было никогда.

Вот если бы у него был агент, если б кто-то мог указать ему верный путь, показать, как спастись, как попасть в струю. Но агента у него не было, пока не было (он оптимистично считал, что это все только «пока»), и потому он, в компании таких же искателей, все высматривал этот ускользящий приток, по которому лишь немногие уплывали из озера и которым никто не желал возвращаться обратно.

Он был готов ждать. Он ждал. Но в последнее время ему казалось, будто его терпение стачивается во что-то занозистое, зазубренное, разваливается на сухие щепочки.

Впрочем, ни беспокойство, ни жалость к себе ему не были свойственны. Напротив, ему случалось возвращаться домой из «Ортолана» или с репетиции пьесы, за неделю игры в которой ему заплатят сущие гроши, так мало, что даже на бизнес-ланч не хватит, с чувством полного удовлетворения. Только они с Джудом могли считать квартиру на Лиспенард-стрит достижением – ведь, сколько бы он ее ни ремонтировал, сколько бы Джуд ее ни отмывал, она все равно оставалась тоскливой и какой-то неясной, как будто бы само это место стеснялось назваться настоящим жильем – но именно в такие минуты он и ловил себя на мысли, что этого уже достаточно. На такое я и надеяться не смел. Жить в Нью-Йорке, быть взрослым, стоять на деревянном возвышении и произносить чужие слова! – то была абсурдная жизнь, жизнь-нежизнь, жизнь, которой ни его родители, ни его брат и представить себе не могли, а он вот представлял ее себе каждый день.

Но потом это чувство исчезало, он вновь оставался один и принимался за газету, проглядывал новости культуры, читал о других людях, делавших то, о чем он даже и мечтать не мог – для этого его воображению не хватало нужной широты, нужной дерзости, – и в такие часы мир ему казался очень большим, озеро – очень пустым, ночь – очень темной, и ему хотелось вернуться в Вайоминг и ждать Хемминга у дороги, где надо было знать только один путь – к родительскому дому, над крыльцом которого горела лампочка, омывавшая вечер медом.

Сначала была видимая жизнь офиса: они, все сорок человек, сидели в большой комнате, каждый за своим столом; на одном конце, ближайшем к Малкольму, – кабинет Рауша за стеклянной стеной, на другом конце, тоже за стеклянной стеной, – кабинет Томассона. Между ними две стены окон, один ряд выходит на Пятую авеню и Мэдисон-сквер, другой – на Бродвей, на мрачный, серый, заплеванный жвачкой тротуар. Эта жизнь существовала официально с десяти утра до семи вечера, с понедельника по пятницу. В этой жизни они делали, что велят: сидели над макетами, чертили наброски и варианты, разбирали эзотерические каракули Рауша и четкие, написанные печатными буквами указания Томассона. Они не разговаривали. Не собирались в группы. Когда клиенты приходили к

Раушу и Томассону и стояли у большого стеклянного стола в центре комнаты, они не поднимали глаз. Если клиент был знаменитостью – а это случалось все чаще и чаще, – они так низко склонялись над чертежами и сидели так тихо, что даже Рауш начинал шептать, и его голос – редкий случай – приноравливался к офисной громкости.

Но была и другая жизнь офиса, настоящая жизнь. Томассон появлялся на работе все реже и реже, так что теперь они ждали только ухода Рауша, и ждать иногда приходилось долго: Рауш, при всей своей светскости и общительности, при всей любви к путешествиям и выступлениям в прессе, был усердным тружеником и, даже уходя с работы на какое-нибудь мероприятие (торжественную церемонию, лекцию), мог позже вернуться, и тогда приходилось быстро все перекладывать, чтобы офис снова стал таким, каким Рауш привык его видеть. Лучше было дожидаться, когда он уйдет совсем, хотя иногда это означало, что ждать придется до девяти-десяти часов вечера. Они приручили помощницу Рауша, принося ей кофе и круассаны, так что теперь можно было полагаться на ее донесения о перемещениях начальника.

Но когда Рауш наконец уходил насовсем, офис моментально преображался, тыква превращалась в карету. Включалась музыка (все пятнадцать человек по очереди выбирали, что ставить), появлялись меню ресторанов с доставкой, на всех компьютерах проекты бюро «Ратстар» закрывались, укладывались в электронные папки и засыпали, забытые и нелюбимые, на всю ночь. На час наступало всеобщее веселье, архитекторы изображали тевтонский выговор Рауша (некоторые из них считали, что на самом деле он из Парамуса в Нью-Джерси, а имя это придуманное – не могут же человека и впрямь звать Йооп Рауш?! – а эксцентричный акцент призван скрыть скучную правду: он просто провинциальный зануда по имени, скажем, Джесси Розенберг). Они изображали и Томассона – как он хмурится, как ходит туда-сюда по офису, когда хочет произвести впечатление на посторонних, покрикивая непонятно на кого (на них, видимо): «Эт-то рап-пота, джентльмены! Рап-пота!» Они не щадили и самого пожилого из начальников – Доминика Чуна, талантливого архитектора, который, однако, постепенно ожесточался (все, кроме него, понимали, что он уже никогда не станет партнером, что бы там ни обещали ему Рауш и Томассон). Они издевались даже над проектами, в которых им приходилось участвовать: нереализованная идея неокоптской церкви из известкового туфа в Каппадокии; дом без видимых опор в Каруидзаве, где ржавчина теперь скатывалась по безликим стеклянным поверхностям; музей еды в Севилье, который должен был получить премию, но не получил, музей кукол в Санта-Катарине, который не должен был получить никаких наград, но получил. Они издевались над своими архитектурными школами – в Массачусетском технологическом, Йеле, в Школе дизайна в Род-Айленде, Колумбии, Гарварде: как все предупреждали их, что много лет жизнь их будет сущим мучением, и как каждый думал, что уж он-то окажется исключением из правил (и сейчас каждый из них втайне продолжал думать так же). Они смеялись над тем, что зарабатывают так мало, а им ведь уже двадцать семь, тридцать, тридцать два, а они все еще живут с родителями, снимают квартиру на двоих, живут с девушкой, работающей в банке, с бойфрендом, работающим в издательстве (вот где ужас: бойфренд в издательстве зарабатывает больше тебя, и тебе приходится жить за его счет!). Они фантазировали, чем бы они сейчас занимались, если б не пошли в чертову архитектуру: можно было стать музейным куратором (единственная в мире профессия, где зарабатывают еще меньше), сомелье (ну хорошо, таких профессий две), владельцем галереи (окей, три), писателем (ладно – четыре, видимо, им не дано зарабатывать деньги даже в фантазиях). Они спорили о зданиях, которые

им страшно нравятся или страшно не нравятся. Они спорили о выставке фотографий в одной галерее и о выставке видео-арта в другой. Они бурно обсуждали критиков, рестораны, философские течения и материалы. Они вместе завидовали однокашникам, добившимся успеха, и злорадствовали по поводу тех, кто оставил профессию, начал разводить лам на ферме в Мендосе, стал соцработником в Анн-Арбор, преподает математику в Чэнду.

Днем они играли в архитекторов. Иногда взгляд клиента, скользящий по комнате, вдруг выхватывал кого-то из них, обычно самых красивых – Маргарет или Эдуарда, и Рауш, который необычайно тонко чувствовал момент, когда он переставал быть центром внимания, звал избранного, словно ребенка за взрослый стол. «Это у нас Маргарет, – говорил он клиенту, глядевшему на нее с тем же вниманием, с каким минуту назад рассматривал чертежи Рауша (которые заканчивала как раз Маргарет). – Скоро она меня вытеснит из бизнеса». И смеялся своим печальным моржовым лаем: «А-ха-ха-ха».

Маргарет улыбалась, здоровалась, закатывала глаза, отвернувшись от них. Но все знали, что она думает то же, что и они: «Иди в жопу, Рауш» и «Когда? Когда уже я тебя вытесню? Когда настанет мой черед?»

А пока у них была только игра; после споров, криков и еды наступала тишина, офис наполнялся сухими звуками: личные файлы извлекались из папок и открывались щелчками мыши, слышался зернистый шорох карандашей по бумаге. Хотя все они работали одновременно, используя ресурсы компании, никто не просил разрешения посмотреть чужую работу – они как будто притворялись, что всего этого не существует. Так вот сидишь до полуночи, рисуешь воображаемые конструкции, изгибаешь параболы в форму мечты, а потом уходишь, всегда с одной и той же глупой шуткой: «Увидимся через десять часов». Или девять, или восемь, если тебе по-настоящему повезло и удалось много сделать.

Сегодня был один из тех вечеров, когда Малкольм уходил один, и довольно рано. Даже когда он заканчивал работу со всеми вместе, он не мог поехать с ними на подземке – все они жили где-нибудь на юге Манхэттена или в Бруклине, он же направлялся в Ист-Сайд. Выйти одному было еще хорошо тем, что никто не увидит, как он ловит такси. Богатые родители были и у его товарищей по офису – у Катарины, например, почти наверняка у Маргарет и Фредерика. Но он единственный из всех жил у своих богатых родителей.

Он поднял руку.

– Угол Семьдесят первой и Лекс, – сказал он водителю.

Если водитель был чернокожим, он говорил «Лексингтон». А если нет, то бывал откровеннее: «Между Лекс и Парк, ближе к Парк». Джей-Би считал, что это как минимум смехотворно, а то и оскорбительно. «По-твоему, если они будут думать, что ты живешь на Лекс, а не на Парк, то примут тебя за крутого гангстера? – спрашивал он. – Малкольм, ты полный придурок».

Эти споры о таксистах были только частью бесконечных дискуссий, которые они годами вели с Джей-Би. Темой их всегда была чернокожесть – точнее, недостаточная чернокожесть Малкольма. Еще один спор о таксистах разгорелся, когда Малкольм (по глупости – он и сам понял это, как только открыл рот) заметил, что он всегда без проблем ловит такси в Нью-Йорке и не понимает, на что жалуются другие. Это было на первом курсе, когда они с Джей-Би в первый и последний раз пришли на еженедельное заседание Союза афроамериканских студентов. От возмущения и злорадства глаза Джей-Би буквально вылезли из орбит, но когда какой-то самодовольный прыщ из Атланты заявил, что Малкольм, во-первых, сам не очень-то черный, во-вторых, он все равно как эскимо – внутри весь белый, и, в-третьих, имея белую

мать, он не в силах понять трудности настоящих черных, Джей-Би тут же встал на его защиту. Джей-Би всегда сам донимал его недостаточной чернотой, но ему не нравилось, когда это делали другие, особенно черные, особенно в смешанной компании, каковой Джей-Би считал любую компанию, кроме Виллема и Джуда.

Вернувшись в квартиру родителей на Семьдесят первой (неподалеку от Парк-авеню), он выдержал обычный родительский допрос, выкрикиваемый со второго этажа («Малкольм, это ты?» – «Да!» – «Ты ел?» – «Да!» – «Может, ты все-таки голодный?» – «Нет!»), и поплелся наверх, в свое логово, чтобы снова раздумывать над главными камнями преткновения собственной жизни.

Хотя Джей-Би не мог подслушать его сегодняшний разговор с таксистом, Малкольм испытывал такое чувство вины и такую ненависть к себе, что раса оказалась на первом месте в его списке. Малкольму всегда было трудно разобраться со своей расой, но на первом курсе он нашел, как ему казалось, блестящий выход из положения: он не черный, он пост-черный. (Постмодернизм стал частью его кругозора сравнительно поздно; он избегал курсов по литературе, это был как бы пассивный протест против влияния матери.) Увы, это объяснение никого не убедило, уж во всяком случае не Джей-Би, которого Малкольм решил считать не черным, а пред-черным, как будто для него чернокожесть была нирваной, идеальным состоянием, в которое Джей-Би постоянно мечтал прорваться.

Но Джей-Би нашел способ перещеголять Малкольма – пока Малкольм выстраивал свою постмодернистскую идентичность, Джей-Би открыл для себя перформативное искусство (курс назывался «Идентичность как искусство: перформативные трансформации и современное тело»; среди слушателей было много усарых лесбиянок, которых страшно боялся Малкольм, но которые необъяснимым образом благоволили к Джей-Би). Джей-Би был так тронут искусством Ли Лозано, что придумал семестровый проект в ее честь под названием «Бойкотирую белых (подражание Ли Лозано)» и в рамках проекта перестал разговаривать с белыми людьми. Однажды в субботу он объяснил им свою идею – тоном слегка извиняющимся и в то же время гордым: сегодня с полуночи он полностью перестает разговаривать с Виллемом и наполовину сокращает общение с Малкольмом. Поскольку расовая принадлежность Джуда неизвестна, с ним он разговаривать сможет, но только загадками и дзенскими коанами, в знак непостижимости его этнического происхождения.

Малкольм увидел, что Виллем и Джуд обменялись серьезным, но, отметил он с раздражением, очень многозначительным взглядом (он всегда подозревал, что между ними существует отдельная дружба, в которой ему нет места), и понял, что идея их позабавила и они готовы идти на поводу у Джей-Би. В принципе-то он был рад немного отдохнуть от Джей-Би, однако не чувствовал ни благодарности, ни умиления – его раздражало, что Джей-Би так легко играет с вопросами расы, раздражало, как он использует этот дурацкий хитровывернутый проект (за который скорее всего получит А), чтобы ткнуть Малкольма носом в его идентичность, а ведь это не его дело.

Жизнь с Джей-Би на условиях проекта (а когда их жизнь не вращалась вокруг его капризов и придумок?) практически ничем не отличалась от обычной жизни с Джей-Би. Урезав общение с Малкольмом, он не стал реже обращаться к нему с мелкими просьбами – захватить для него что-то в магазине, пополнить его карточку для прачечной, раз ему все равно по пути, одолжить экземпляр «Дон-Кихота» на занятие по испанскому, а то Джей-Би оставил свой в мужском туалете библиотеки. То, что он не разговаривал с Виллемом, не значило, что он отказался от прочих способов коммуникации, включая массу эсэмэсок и

наспех нацарапанных записок («Пойд. смтр. Крестного отца у Рэкса?») – по мнению Малкольма, Ли Лозано бы этого не одобрила. С Джудом он общался в стиле «Ионеско для бедных», но этот стиль явно не годился, чтобы попросить Джуда сделать за него домашнее задание по матанализу, и тогда Ионеско внезапно превращался в Муссолини, особенно когда до Ионеско доходило, что есть целый набор задач, к которым он вообще еще не притрагивался, потому что был слишком занят в мужском туалете библиотеки, а занятие начинается через сорок три минуты («Но ты ведь успеешь, правда, Джуди?»).

Естественно, Джей-Би не был бы Джей-Би, если бы его выходка тут же не привлекла сверстников, падких на все броское и блестящее, так что его маленький эксперимент немедленно был описан в газете колледжа, а после в новом афроамериканском литературном журнале «Раскаяние есть», и в течение некоторого утомительного периода времени о нем говорил весь кампус. Все это внимание раздуло в нем угасший было энтузиазм (Джей-Би жил по новым правилам всего восемь дней, но Малкольм видел, что иногда он просто лопается от желания поговорить с Виллемом) – он смог продержаться еще два дня, после чего величественно завершил эксперимент, заявив, что добился успеха и доказал все, что хотел.

– И что же ты хотел доказать? – спросил Малкольм. – Что можешь доводить белых до белого каления, даже когда не разговариваешь с ними?

– Ой, иди в жопу, Мэл, – лениво отозвался Джей-Би, слишком довольный своим успехом, чтобы ввязываться в спор. – Тебе не понять.

И он отправился на встречу со своим бойфрендом, белым парнем с лицом благочестивого богомола, который всегда смотрел на Джей-Би с выражением такого обожания, что Малкольма начинало тошнить.

В то время Малкольм был убежден, что расовый дискомфорт, который он испытывает, – временное состояние, чисто контекстуальное ощущение, которое у каждого пробуждается в колледже, но потом проходит. Он никогда не испытывал никаких особых чувств, никакой гордости по поводу своей расы, разве что косвенно: он знал, что ему следует определенным образом относиться к некоторым вещам (например, к таксистам), но это знание было чисто теоретическим, не подкреплялось его собственным опытом. И все-таки принадлежность к черной расе была важной частью его семейного нарратива, тех историй, которые рассказывались и пересказывались, пока не залоснились от времени: как его отец был третьим черным управляющим директором в инвестиционной компании, третьим черным председателем правления в очень белой подготовительной школе для мальчиков, в которую ходил Малкольм, вторым черным финансовым директором крупного коммерческого банка. (Отец Малкольма родился слишком поздно, чтобы стать первым черным кем бы то ни было, но в своем ареале обитания – к югу от Девяносто шестой улицы и к северу от Пятьдесят седьмой, к востоку от Пятой и к западу от Лексингтон – он был такой же редкой птицей, как краснохвостый сарыч, который гнезвился иногда в зубчатой стене напротив их дома на Парк-авеню.) По мере взросления факт отцовской (и, наверное, его собственной) принадлежности к черной расе отошел на задний план, уступая место другим факторам, которые были важнее в их части Нью-Йорка, – таким, например, как известность матери в литературных кругах Манхэттена, – и, что еще более важно, их богатству. Тот Нью-Йорк, в котором жила семья Малкольма, делился не по расовым признакам, а по ставке подоходного налога, и Малкольм вырос защищенным от всего, от чего могут защитить деньги, включая расизм, – во всяком случае, так ему казалось позже. И в самом деле, только в колледже он осознал, каким

разным этот опыт может быть у разных людей черной расы и, что поразило его еще больше, как сильно деньги родителей отделяли его от остальных граждан его страны (если считать его однокурсников представителями остальной страны, что, конечно, было не так). Даже теперь, через десять лет после знакомства, он не мог осознать ту степень бедности, в которой вырос Джуд, – когда он наконец понял, что рюкзак, с которым Джуд приехал в колледж, содержит буквально все, чем тот владеет на этом свете, он испытал такое сильное и глубокое изумление, что даже поделился им с отцом, хотя обычно избегал представлять отцу доказательства своей наивности, боясь спровоцировать лекцию о том, как он наивен. Но даже отец, выросший в бедной семье в Квинсе – пусть с двумя работающими родителями и новым комплектом одежды каждый год, – был потрясен, Малкольм это видел, хотя тот и постарался скрыть свои чувства, немедленно пустившись в рассказ о собственных детских лишениях (что-то такое о рождественской елке, которую пришлось покупать на другой день после Рождества), как будто в соревновании, кому пришлось хуже, отец все еще надеялся выиграть, несмотря на очевидный сокрушительный триумф соперника.

Но все равно для людей, окончивших колледж шесть лет назад, раса становилась все менее важной характеристикой, носиться с ней как с основой своей идентичности казалось ребячеством, жалким и постыдным, как продолжать цепляться за юношеское увлечение «Амнести Интернэшнл» или игрой на тубе: все эти интересы вчерашнего дня исчерпали свой потенциал еще при поступлении в колледж. В его возрасте по-настоящему важными аспектами идентичности были сексуальные подвиги, профессиональные достижения и деньги. И во всех этих трех аспектах Малкольм тоже терпел неудачу.

Ну деньги ладно. Когда-нибудь он унаследует огромное состояние. Он не знал точно, насколько огромное, не считал нужным спрашивать, и никто никогда не считал нужным ему ничего сообщать, и уже по одному этому было понятно, что состояние очень велико. Ну не как у Эзры, конечно, хотя... может, и как у Эзры. Родители Малкольма жили гораздо скромнее, чем могли бы, поскольку его мать терпеть не могла вульгарной демонстрации богатства, так что он не знал даже, живут они между Лексингтон-авеню и Парк потому, что не могут позволить себе жить между Мэдисон и Пятой, или же потому, что его мать посчитала бы, что жить между Мэдисон и Пятой – дурной тон. Ему бы хотелось зарабатывать деньги самому, но он не относился к тем детям богатых родителей, которые непрерывно казнят себя за свое богатство. Он постарается сам пробить себе дорогу, но не все зависит от него одного.

Однако секс, сексуальная самореализация – за это он все-таки отвечает сам. Он не может сказать, что в его жизни не хватает секса, потому что он выбрал малооплачиваемую работу, или обвинить в этом родителей. (Или все-таки может? В детстве ему приходилось быть невольным свидетелем долгих родительских обжиманий – родители не стеснялись их с Флорой, – и, может быть, демонстрация их искушенности притупила в нем дух соревнования?) Его последние настоящие отношения закончились больше трех лет назад, женщину звали Имоджен, она бросила его и стала лесбиянкой. Он и сейчас не знал, привлекала ли она его физически или он просто был рад, что кто-то принимает за него решения. Недавно он виделся с Имоджен (она тоже архитектор, хотя работает в общественной организации и проектирует экспериментальные дома для малоимущих – Малкольм знал, что должен хотеть заниматься именно такой работой, хотя втайне вовсе этого не хотел) и сказал ей – в шутку! – что, наверное, это из-за него она стала лесбиянкой. Но Имоджен тут же ошетибилась и ответила, что лесбиянкой была всегда, а с ним связалась

только потому, что решила чему-то научить сексуально беспомощного и запугавшегося молокососа.

Но после Имоджен у него никого не было. Да что ж с ним такое? Секс, сексуальность: с этим тоже надо было разбираться в колледже, на последнем рубеже, когда неуверенность в себе не только не осуждалась, но воспринималась с пониманием. Когда ему было чуть за двадцать, он пытался ненадолго влюбляться в разных людей – во Флориных подруг, в однокурсниц, в одну клиентку матери, написавшую высоколобый дебютный «роман с ключом», где главный герой, пожарный, не мог разобраться в своей сексуальной ориентации, – и все-таки не понимал, к кому его влечет. Иногда он думал, что неплохо быть геем (хотя и этой мысли он не мог вынести, это тоже казалось атрибутом студенческой жизни, идентичностью, которую можно примерить на время, прежде чем перейдешь в более зрелую и практичную полосу жизни) из-за прилегающих к этому статусу аксессуаров, набора политических убеждений и эстетических вкусов. У него отсутствовало то обостренное чувство несправедливости, та рана, тот неизбывный гнев, которые необходимы, чтобы ощущать себя черным, но он не сомневался, что может разделить интересы, присущие геям.

Он воображал, что почти влюблен в Виллема, а иногда и в Джуду, а на работе порой не мог отвести взгляд от Эдуарда. Но потом он ловил взгляд Доминика Чуна, тоже устремленный на Эдуарда, и это его отрезвляло: меньше всего на свете он хотел стать таким, как Доминик, похотливо глядевший на сотрудника фирмы, в которой он никогда не станет партнером. Пару недель назад он заходил к Виллему и Джуду, чтобы сделать замеры и спроектировать им стеллаж, и когда Виллем наклонился, чтобы взять с дивана рулетку, его близость оказалась неожиданно невыносимой, и он убежал, соврав, что ему срочно надо в офис, хотя Виллем выбежал следом, окликаая его.

Он действительно поехал в офис, не отвечал на эсэмэски Виллема, сидел перед компьютером, уставившись в монитор невидящим взглядом, и снова спрашивал себя, зачем он пошел работать в «Ратстар». К сожалению, ответ лежал на поверхности, и спрашивать нечего: он пошел работать в «Ратстар», чтобы произвести впечатление на родителей. На последнем курсе архитектурной школы Малкольм выбирал: он мог начать работать с двумя однокурсниками, Джейсоном Кимом и Сонал Марс, которые решили открыть свою компанию на деньги, унаследованные Сонал от бабушки с дедушкой, или пойти в «Ратстар».

– Ты шутишь, – сказал Джейсон, когда Малкольм объявил ему о своем решении. – Ты представляешь, какова жизнь рядового сотрудника в такой компании?

– Это прекрасная компания, – сказал он назидательно, с интонацией матери, и Джейсон закатил глаза. – Представь, какая строчка в резюме.

Но, уже произнося эти слова, он понимал (и, увы, боялся, что и Джейсон понимает): на самом деле это громкое имя нужно ему для того, чтобы родители могли щеголять им на вечеринках. Они и в самом деле произносили его с удовольствием. На каком-то обеде, который давали в честь клиента матери, Малкольм подслушал реплику отца: «Дочь у меня – редактор в „Фаррар, Страус и Жиру“, а сын работает архитектором в „Ратстаре“». Его собеседница одобрительно закудаhtала, и Малкольм, который искал случая сказать отцу, что хочет бросить фирму, почувствовал, как внутри у него что-то оборвалось. В такие минуты он завидовал своим друзьям совершенно по тем же причинам, по каким когда-то их жалел: от них никто ничего не ждет, у них обычные семьи (или вовсе нет семьи), они сами ставят себе жизненные цели.

И что же? Теперь об одном проекте Джейсона и Сонал написал «Нью-Йорк», о другом – «Нью-Йорк таймс», а он все делает подсобную работу, как на первом курсе, пашет на двух претенциозных индюков в претенциозной фирме, названной в честь претенциозного стишка Энн Секстон, и получает за это гроши.

Он выбрал архитектурную школу по самой, кажется, неудачной причине: он любил здания. Это было вполне приемлемое увлечение, и когда он был маленький, родители всячески ему потакали: в путешествиях они вечно ходили на экскурсии, осматривали дома и архитектурные памятники. Даже в самом раннем детстве он рисовал воображаемые дома, возводил воображаемые конструкции; это было его утешением и прибежищем – все, что он не мог высказать и решить, можно было обратиться в здание.

На самом деле вот чего он стыдился больше всего: не того, что у него не складывается с сексом, не того, что он недостаточно верен своей расе, не того, что он никак не может отделиться от родителей, зарабатывать деньги, стать самостоятельным человеком. Он стыдился того, что, когда они с коллегами сидели допоздна в офисе и все работали над проектами своей мечты, рисовали и планировали небывалые здания, он один ничего не делал. Он потерял способность выдумывать. Пока другие творили, он копировал: зарисовывал здания, виденные в путешествиях, здания, придуманные и построенные другими, здания, в которых он жил или побывал. Снова и снова он повторял то, что уже было создано, не внося изменений, просто копируя. Ему исполнилось двадцать восемь, воображение покинуло его, он всего лишь копировальщик.

Это было страшно. У Джей-Би есть его картины. У Джуда есть его работа, у Виллема тоже. Но что, если Малкольм никогда больше ничего не создаст? Он тосковал о тех годах, когда можно было просто сидеть у себя в комнате и рука летала над листом миллиметровки; еще далеко были трудные решения и выбор идентичности, пока что родители все решали за него, а он мог полностью сосредоточиться на чистой, тонкой линии, проведенной вдоль идеального лезвия линейки.

Джей-Би решил, что Новый год они встретят у Виллема и Джуда. Об этом он сообщил им на Рождество, которое они праздновали в три приема: в сочельник собирались у матери Джей-Би в Форт-Грине, на собственно рождественский ужин (по всем правилам, при костюме и галстук) – у родителей Малкольма, а до этого совсем неформально обедали у теток Джей-Би. Они всегда следовали этому ритуалу – четыре года назад к нему прибавился День благодарения в Кеймбридже у Гарольда и Джулии, друзей Джуда, а вот Новый год оставался нераспределенным. В прошлом году – в первую уже не студенческую зиму – все они одновременно находились в одном и том же городе, но Новый год провели врозь, и все неудачно: Джей-Би на дурацкой вечеринке у Эзры, Малкольм в гостях у очередных родительских друзей, Виллема Финдлей определил в праздничную смену в «Ортолане», а Джуд валялся с гриппом на Лиспенард-стрит. Было решено на следующий год как следует все спланировать. Но они тянули и тянули, и вот уже декабрь, а плана все нет.

Поэтому никто не возражал, когда Джей-Би все решил за них (на этот раз, во всяком случае). Они прикинули, что человек двадцать пять разместят без труда, а сорок – с трудом. «Пусть будет сорок», – тут же сказал Джей-Би, как они и ожидали, но, вернувшись домой, они составили список всего из двадцати человек – только их друзей и друзей Малкольма, – ведь было заранее ясно, что Джей-Би пригласит больше народу, чем ему полагалось; он станет звать друзей, и друзей друзей, и совсем не друзей, и коллег, и барменов, и какого-нибудь продавца из магазина, и в конце концов в квартиру набьется столько народу, что даже при открытых настежь окнах ночной воздух не сможет развеять духоту и туман сигаретного дыма.

– И не делайте ничего замороченного, – предупредил Джей-Би, но Виллем с Малкольмом знали, что это предупреждение относится исключительно к Джуду, который был склонен все усложнять и целые ночи напролет печь гужеры, противень за противнем, хотя всех бы вполне устроила пицца, а также отдраивать все до блеска, хотя всем было бы наплевать, даже если бы пол покрылся слоем грязи, а раковина – плевками засохшего мыла и присохшими остатками завтрака.

Ночь перед вечеринкой выдалась теплой не по сезону, настолько теплой, что Виллем прошел пешком все две мили от «Ортолана», а дома его встретил такой густой масляный запах теста, сыра, фенхеля, что ему показалось, будто он и не уходил с работы. Он постоял немного на кухне, с легкой печалью поддевая маленькие вспухшие полукружья, которые остывали на противнях, оглядывая батареи пластиковых контейнеров – имбирное печенье, печенье с пряными травами, – и с той же печалью отметил, что Джуд все-таки выдраил всю квартиру; он знал, что все эти изыски будут бездумно проглочены под пиво, а их новый год начнется с того, что они повсюду будут находить крошки от этого прекрасного печенья – раздавленные, втоптаные в пол. В спальне он обнаружил, что Джуд уже спит, а окно приоткрыто, и воздух был такой плотный, что Виллему приснилась весна: деревья в желтом цветочном пуху и стаи дроздов с гладкими, будто промасленными перьями, беззвучно скользящие по небу цвета моря.

Когда он проснулся, погода снова переменилась, и он не сразу сообразил, что дрожит от холода, и что звук, ворвавшийся в его сон, – это шум ветра, и что его трясут, а имя его повторяют не птицы, а человеческий голос: «Виллем, Виллем».

Он повернулся, приподнялся на локтях – Джуд был виден ему только фрагментами; сначала он различил лицо, а потом сообразил, что Джуд держит перед собой левую руку, поддерживая ее правой, и она чем-то обернута – полотенцем, сообразил он, – и это полотенце в полумраке было таким ослепительно-белым, что, казалось, само служило источником света, и он смотрел на него как замороженный.

– Виллем, прости, – сказал Джуд, и голос его звучал так спокойно, что еще несколько секунд он думал, что это сон, и перестал слушать, так что Джуду пришлось повторить. – Виллем, произошел несчастный случай. Прости. Пожалуйста, отвези меня к Энди.

Наконец он проснулся.

– Что такое?

– Я порезался. Случайно. – Он помедлил. – Ты меня отвезешь?

– Да, конечно.

Но он все еще не проснулся, все еще был как в тумане и, еще не понимая, что случилось, торопливо оделся, вышел в коридор, где ждал Джуд; они вместе дошли до Канал-стрит, и он свернул в сторону подземки, но Джуд потянул его за рукав:

– Думаю, придется вызвать такси.

В такси – Джуд сказал водителю адрес все тем же подавленным, глухим голосом – он наконец пришел в себя и заметил, что Джуд все еще прижимает к руке полотенце.

– Зачем ты взял полотенце? – спросил он.

– Я же сказал – порезался.

– Что, так сильно?

Джуд пожал плечами, и Виллем только теперь заметил, что его губы приобрели странный цвет – вернее, странную бесцветность, хотя, может быть, все дело было в свете фонарей, который захлестывал его лицо, выхватывал отдельные черты, окрашивал их желтым, охристым, тошнотным личиночно-белым, пока такси несло на север. Джуд прислонился головой к окну и закрыл глаза, и тогда на Виллема накатила дурнота, ему стало страшно, хотя он и не смог бы сказать почему, он знал только, что они едут в такси и что-то случилось, он не знал что, но что-то очень плохое, а он не понимает чего-то жизненно важного, главного, и влажное тепло, царившее повсюду всего лишь несколько часов назад, исчезло, и мир опять вернулся к ледяной резкости конца года, к неприкрытой зимней жестокости.

Приемная Энди находилась на пересечении Семьдесят восьмой и Парк, недалеко от дома родителей Малкольма, и только когда они вошли внутрь, при нормальном освещении Виллем увидел, что узор на рубашке Джуда – это кровь, что полотенце все пропиталось ею, стало липким, покрылось коркой и кусочки хлопка слиплись, как влажная шерсть.

– Прости, – сказал Джуд Энди, когда тот открыл дверь и впустил их, а когда Энди размотал полотенце, Виллем увидел, как рука Джуда захлебывается, будто на ней появился рот, блюющий кровью, да с такой силой, что маленькие пенистые пузыри надуваются и отскакивают, брызжут слюной в возбуждении.

– Мать твою, господи Иисусе, Джуд, – сказал Энди и потащил его в смотровую, а Виллем остался ждать снаружи. О господи, думал он, о господи. Но мысли его прокручивались вхолостую, как колесо, попавшее в глубокую колею, – в голове все повторялись эти два слова. Приемная была слишком ярко освещена, он пытался расслабиться, но не мог – все та же фраза билась и билась в такт с сердцем, словно второй пульс в теле: о господи. О господи. О господи.

Прошел целый долгий час, прежде чем Энди позвал его. Энди был на восемь лет старше, они познакомились еще на втором курсе – тогда у Джуда случился такой сильный приступ, что они втроем наконец решились отвезти его в университетскую больницу, где как раз дежурил Энди. С тех пор он стал единственным врачом, к которому соглашался обратиться Джуд, и хотя Энди был хирург-ортопед, он лечил Джуду все, от болей в спине и в ноге до простуды и гриппа. Они все любили Энди и доверяли ему.

– Можешь забрать его домой, – сказал Энди. Он был сердит. Он с резким щелчком содрал с рук окровавленные перчатки, рывком встал со своей табуретки на колесиках. По полу тянулась красная полоса, длинная и размазанная, как будто кто-то что-то разлил, принялся отмывать, но бросил в сердцах. Красные кляксы виднелись на стенах, затвердевали на свитере Энди. Джуд сидел на смотровом столе сгорбившись, вид у него был несчастный. В руке он держал стеклянную бутылку с апельсиновым соком. Волосы его слиплись клоками, рубашка казалась твердой броней, как будто сделана была не из ткани, а из металла.

– Джуд, подожди в приемной, – велел Энди, и Джуд покорно вышел.

Когда они остались одни, Энди закрыл дверь и посмотрел на Виллема.

– Как по-твоему, он в последнее время думал о суициде?

– Что? Нет. – Он на мгновение окаменел. – А что, это он пытался?..

Энди вздохнул.

– Он говорит, что нет. Но... Не знаю. Нет, не знаю, не могу понять. – Он прошел к раковине и стал яростно тереть руки. – С другой стороны, если бы вы обратились в пункт неотложной помощи – а именно туда вам и надо было отправиться к чертям собачьим, – то они бы его почти наверняка госпитализировали. Поэтому он туда и не пошел. – Теперь он громко говорил сам с собой. Он выдавил на руки лужицу мыла и снова принялся их мыть. – Ты знаешь, что он себя режет?

Несколько мгновений он не мог ответить.

– Нет, – сказал он наконец.

Энди повернулся и уставился на Виллема, медленно вытирая насухо каждый палец.

– Он не угнетен? Регулярно ест, спит? Может быть, беспокоится, не находит себе места?

– Он казался нормальным, – сказал Виллем, хотя, по правде говоря, не знал. Ел ли Джуд регулярно? Спал ли? Должен ли был он заметить, если нет? Обращать больше внимания? – В смысле, он был такой как всегда.

– Что ж, – сказал Энди. Из него словно вышел воздух. Несколько мгновений они постояли молча, лицом к лицу, но не глядя друг на друга.

– На этот раз поверю ему на слово, – сказал он. – Я виделся с ним неделю назад, и, согласен, он был такой как обычно. Но если он вдруг начнет как-то странно себя вести... Если ты хоть что-то заметишь, Виллем, звони мне немедленно.

– Обещаю, – сказал Виллем.

Он видел Энди несколько раз за эти годы и всегда чувствовал его недовольство, направленное, казалось, на многих людей сразу: на самого себя, на Джуда и в особенности на друзей Джуда, – Энди всегда давал им понять, не говоря этого прямо, что все они недостаточно заботятся о Джуде. И ему нравилось это негодование, хотя он и опасался осуждения Энди и чувствовал, что тот не вполне справедлив.

И тут, как часто бывало, когда Энди переставал их укорять, его голос смягчился и зазвучал почти нежно:

– Я знаю, ты все сделаешь как надо. Уже поздно, езжайте домой. Дай ему что-нибудь

поест, когда он проснется. С Новым годом.

Домой они ехали молча. Таксист окинул Джуда долгим внимательным взглядом и сказал:

– Поеду, если накинете двадцать долларов сверху.

– Ладно, – ответил Виллем.

Небо уже светлело, но он знал, что заснуть не получится. Джуд отвернулся и глядел в окно, а когда они вернулись домой, он, споткнувшись у порога, медленно побрел в ванную, и Виллем понял, что он хочет там прибраться.

– Не надо, – сказал он. – Иди ложись.

И Джуд, в кои-то веки послушавшись его, развернулся, поплелся в спальню и практически мгновенно уснул.

Виллем, усевшись на кровать напротив, наблюдал за ним. Он вдруг ощутил каждый свой сустав, каждую мышцу и косточку, и ему показалось, будто он разом, разом состарился, и поэтому он несколько минут просто сидел, уставившись на Джуда.

– Джуд! – позвал он, потом позвал снова, погромче, но Джуд не отзывался, и тогда он подошел к его кровати, перекатил Джуда на спину и, немного поколебавшись, отогнул правый рукав его рубашки. Ткань не скручивалась, а скорее сгибалась и надламывалась, будто картон, и рукав Виллему удалось отвернуть только до локтя, но шрамы и так уже были видны – три ровных белых колонки, в дюйм шириной, слегка вспухшие, так что кожа бугрилась лесенкой. Он просунул палец под рукав, нащупал дорожки, уходящие вверх к плечу, но, дойдя до бицепса, остановился, передумал и убрал руку. Осмотреть левую руку Виллем не мог – Энди разрезал рукав и перебинтовал все предплечье до локтя, – но он знал, что и там точно такие же шрамы.

Он соврал Энди, когда сказал, будто не знает, что Джуд себя режет. Формально это было правдой – он никогда не видел, как тот себя режет, но знать – знал, и давно. В то лето, когда умер Хемминг и они поехали в гости к Малкольму, они с Малкольмом напились однажды вечером и наблюдали за Джудом и Джей-Би, которые ходили гулять к дюнам, а теперь, швыряясь друг в друга песком, шли обратно к дому, и вот тогда Малкольм его спросил:

– А ты заметил, что у Джуда вся одежда с длинными рукавами?

Он что-то буркнул в ответ. Конечно, он заметил – еще бы не заметить, особенно в такую жару, – просто предпочитал об этом не думать. Ему часто казалось, что его дружба с Джудом в основном и заключается в том, чтобы не спрашивать того, о чем спросить необходимо, потому что ответ услышать страшно.

Они помолчали, наблюдая за тем, как пьяный Джей-Би растянулся на песке и Джуд, прохравав к нему, принялся его закапывать.

– У Флоры была подруга, которая всегда ходила в одежде с длинными рукавами, – продолжил Малкольм. – Ее звали Марьям. Она себя резала.

Виллем молчал до тех пор, пока молчание не стало таким натянутым, что ему показалось, будто оно ожило. У них в корпусе жила девушка, которая тоже себя резала. Она отучилась с ними первый курс, но тут до него вдруг дошло, что он ее уже год как не видел.

– Почему? – спросил он Малкольма.

Джуд уже закопал Джей-Би по пояс. Джей-Би нестройно и несвязно что-то напевал.

– Не знаю, – ответил Малкольм. – Там все было сложно.

Виллем подождал, но Малкольм, похоже, больше ничего говорить не собирался.

– И чем все закончилось?

– Не знаю. Когда Флора уехала в колледж, они перестали общаться. Больше она о ней ничего не рассказывала.

Они снова умолкли. Он знал, что как-то так вышло, как-то они так молчаливо условились, что за Джуда в первую очередь отвечать будет он, и он понял, что Малкольм пытается подсунуть ему какую-то задачку, требующую решения, хотя что это за задачка – и какое у нее вообще может быть решение, – он толком не знал и готов был поспорить, что Малкольм тоже не знает.

Следующие несколько дней он избегал Джуда, потому что понимал: останься он с ним наедине, не сможет удержаться от разговора, а пока что Виллем и сам точно не знал, хочется ли ему с ним разговаривать, да и о чем говорить, не знал тоже. Избегать его было не сложно: днем они всегда были вместе, вчетвером, а по вечерам все расходились по своим комнатам. Но однажды вечером Малкольм и Джей-Би ушли за лобстерами, а они с Джудом остались на кухне мыть салат и резать помидоры. День выдался долгим, сонным, солнечным, Джуд в кои-то веки был в приподнятом, почти беззаботном настроении, и, еще не договорив, Виллем уже заранее расстраивался, что испортит этот идеальный миг, когда все – от закапанного алым небом до ножа, что так ловко резал овощи – складывалось в такую безупречную картину.

– Может, какую-нибудь мою футболку наденешь? – спросил он Джуда.

Джуд молча вырезал сердцевинку помидора, окинул Виллема ровным, ничего не выражающим взглядом и только потом ответил:

– Нет.

– А тебе не жарко?

Джуд улыбнулся – легонько, предостерегающе.

– Вот-вот снова похолодает.

Он был прав. Когда скрылся последний блик солнца, стало прохладно, и Виллему самому пришлось идти к себе в комнату за свитером.

– Но... – он уже и сам понимал, что скажет глупость, что, стоило ему завести этот разговор, как он перестал с ним справляться, будто с рвущейся из рук кошкой, – ты же все рукава в лобстере перепачкаешь.

В ответ Джуд как-то странно крикнул – не засмеялся, слишком громким, слишком лающим вышел звук – и снова взялся за овощи.

– Я как-нибудь справлюсь, Виллем, – сказал он, и хоть он очень мягко это произнес, Виллем заметил, как крепко он стиснул, сдавил даже, ручку ножа – так что костяшки стали сально-желтого цвета.

Им тогда повезло, повезло обоим, что Джей-Би с Малкольмом вернулись прежде, чем они продолжили разговор, но Виллем еще успел услышать, как Джуд спросил было: «А почему ты?..» Он так и не договорил (да и вообще за весь ужин, после которого рукава у него остались идеально чистыми, не сказал Виллему ни слова), но Виллем знал, что вопрос был не «А почему ты спрашиваешь?», а «Почему *ты* спрашиваешь?», ведь Виллем всегда старался не выказывать излишнего интереса к шкафу с многочисленными ящиками, в котором прятался Джуд.

Будь это кто другой, твердил себе Виллем, он бы не колебался ни минуты. Он потребовал бы объяснений, обзвонил бы всех общих друзей, уселся бы с ним рядом – и криками, мольбами и угрозами вытянул бы из него признание. Но если хочешь дружить с

Джудом, подписываешься совсем на другое: и он сам это понимал, и Энди это понимал, и все они это понимали. Ты учишься не обращать внимания на голос инстинкта, гонишь от себя все подозрения. Ты понимаешь, что доказательством вашей дружбы становится умение держать дистанцию, верить в то, что тебе говорят, отворачиваться и уходить, когда перед тобой захлопывают дверь, а не пытаться ее выломать. Военные советы, которые они держали вчетвером, когда дело касалось других – когда они думали, что девушка, с которой встречается Черный Генри Янг, ему изменяет, и не знали, как ему об этом сказать, когда они знали, что девушка Эзры ему изменяет, и не знали, как ему лучше об этом сказать... таких советов они никогда не станут держать о Джуде. Он сочтет это предательством, да и толку от них не будет.

Весь оставшийся вечер они друг друга избегали, но когда Виллем уже шел спать, он вдруг задержался возле двери Джуда, занес было руку, чтобы постучать, но потом передумал и пошел к себе. Что он скажет? И что он хочет услышать? И Виллем ушел и вел себя как ни в чем не бывало, и на следующий день, когда Джуд ни словом не обмолвился о прошлом вечере и их почти-разговоре, Виллем тоже промолчал, и вскоре и этот день сменился ночью, а за ним – еще один и еще, и они все дальше и дальше удалялись от того времени, когда Виллем хотя бы попытался, пусть и безуспешно, добиться от Джуда ответа на вопрос, который у него не хватало мужества задать.

Но вопрос так никуда и не делся, он пробивался в сознание в самые неожиданные минуты, упрямо пролезал вперед всех его мыслей и каменел там, будто тролль. Четыре года назад, когда они с Джей-Би учились в магистратуре и снимали на двоих квартиру, к ним в гости приехал Джуд, который доучивался в Бостоне в юридической школе. И тогда ночью дверь ванной тоже оказалась запертой, и Виллема вдруг охватил необъяснимый ужас; он принялся колотиться в дверь, и Джуд вышел к нему – с сердитым, но (или это ему только показалось) в то же время почему-то виноватым видом, спросил: «Что такое, Виллем?» – и Виллем, зная, что тут что-то не так, снова не сумел ему ничего ответить. В ванной стоял терпкий и резкий, металлически-ржавый запах крови, и Виллем даже порылся в мусорной корзине – нашел скрученную обертку от пластыря, но не знал, валялась ли она там с ужина, когда Джей-Би ткнул себе в руку ножом, пытаясь нарезать морковь прямо в руке (Виллем подозревал, что тот вел себя на кухне подчеркнуто неуклюже, чтобы его не просили помочь), или осталась от ночных самоистязаний Джуда. Но он опять (опять!) ничего не сделал, и, проходя мимо Джуда, который спал (или притворялся, что спит?) на диване в гостиной, он так ничего и не сказал, ничего он не сказал и на следующий день, и дни шелестели один за другим чистыми листами, и каждый день он ничего, ничего, ничего ему не говорил.

А теперь это. Если б он сделал что-нибудь (что?) три года назад, восемь лет назад, случилось бы это сегодня? И что такое это «это»?

Но теперь он заговорит, потому что теперь у него есть доказательства. Потому что, если он и теперь позволит Джуду увернуться, избежать расспросов, сам Виллем и будет виноват, если что-нибудь случится.

Едва он принял решение, как почувствовал, что на него наваливается усталость и уносит все ночные страхи, тревоги и волнения. Был последний день года, он прилег на кровать, закрыл глаза и едва успел удивиться тому, что сон пришел к нему так быстро.

Виллем проснулся почти в два часа дня и сразу же вспомнил свое вчерашнее решение.

Но то, что он увидел, несколько охладило его пыл. Постель Джуда была убрана, и Джуда в ней не было. Зайдя в ванную, он почувствовал запах хлорки. А за складным столиком сидел сам Джуд и вырезал кружки из раскатанного теста с таким стоическим видом, что Виллем испытал одновременный прилив раздражения и облегчения. Значит, если уж он решится поговорить с ним начистоту, то не сможет сослаться ни на беспорядок, ни на свидетельства вчерашней катастрофы.

Он опустил на стул напротив Джуда.

– Ты что делаешь?

– Гужеры, – спокойно ответил Джуд, не поднимая глаз. – Вчера одна партия получилась неудачно.

– Да кому они, на фиг, сдались, – недобро сказал он и неуклюже, по инерции, добавил: – Мы могли бы всем подать сырны палочки, вышло бы ровно то же самое.

Джуд пожал плечами, и раздражение Виллема распалилось до гнева. Вот он сидит тут после такой страшной – да, страшной – ночи и делает вид, будто ничего не произошло; а между тем его забинтованная рука лежит неподвижно на столе. Он уже открыл было рот, но тут Джуд отставил стакан, которым вырезал круги из теста, и посмотрел на него.

– Виллем, прости меня, – сказал он едва слышно. Увидев, что Виллем смотрит на забинтованную руку, он другой рукой перетащил ее на колени. – Я не... – Он помолчал. – Прости. Не сердись на меня.

Гнев развеялся.

– Джуд, – сказал он, – что это было?

– Не то, что ты думаешь. Честное слово, Виллем.

Много лет спустя Виллем будет пересказывать этот разговор – в общих чертах, не дословно – Малкольму в доказательство своей несостоятельности, своего провала. Можно ли было все изменить, если бы он произнес одну-единственную фразу? Например: «Джуд, ты что, пытаешься покончить с собой?» или «Джуд, немедленно расскажи мне, что происходит» или «Джуд, зачем ты с собой такое делаешь?» Любая из них сгодились бы; любая подвела бы к серьезному разговору – целительному или, по крайней мере, профилактическому.

Так ведь?

Но тогда он всего лишь промычал:

– Ну ладно.

Они сидели молча – долго, как им казалось, под бормотание телевизора в соседней квартире, и только много позже Виллем задался вопросом, опечалился Джуд или вздохнул с облегчением оттого, что ему так легко поверили.

– Ты сердишься?

– Нет. – Он откашлялся. Нет, он не сердился. Во всяком случае, он не стал бы описывать свои чувства таким словом, хотя правильного слова тоже подобрать не мог. – Но нам, конечно, придется отменить гостей.

– Почему? – с ужасом спросил Джуд.

– Почему? Ты издеваешься?

– Виллем, – в голосе Джуда зазвучала интонация, которую он про себя называл «судебной», – мы не можем ничего отменить. Гости начнут собираться часов через семь, даже раньше. Причем мы понятия не имеем, кого приглашал Джей-Би. Эти-то придут в любом случае, даже если мы предупредим всех остальных. И потом, – он сделал резкий вдох, как будто переболел затяжным бронхитом и теперь показывал, что вылез, – я в полном

порядке. Отменять будет сложнее, чем оставить все как есть.

Почему, ну почему он всегда слушался Джуда? Но он снова послушался; и вот уже восемь, и окна снова открыты, и в кухне снова жарко от выпечки – как будто прошлой ночи не было, как будто все это был мираж, – и вот уже пришли Малкольм и Джей-Би. Виллем стоял на пороге спальни, застегивая рубашку, и слушал, как Джуд объясняет им, что обжег руку, выпекая гужеры, и что Энди пришлось намазать место ожога мазью.

– Говорил я тебе не делать эти дурацкие гужеры, – услышал он радостный голос Джей-Би; Джей-Би любил выпечку Джуда.

Тогда на него нахлынуло наваждение: он сейчас закроет двери, ляжет спать, а когда проснется – будет новый год, и все будет стерто подчистую, и у него перестанет скрести на душе. Мысль о том, что придется общаться с Малкольмом и Джей-Би, улыбаться, шутить, вдруг показалась невыносимой.

Но, конечно, общаться пришлось, и когда Джей-Би потребовал, чтобы они вчетвером поднялись на крышу, потому что ему нужно глотнуть свежего воздуха и покурить, он, не вступая в разговор, позволил Малкольму понуть – вяло и безрезультатно – про лютый холод, а потом послушно потащился, замыкая процессию, по узкой лестнице, которая выходила на покрытую рубероидом крышу.

Он все еще злился и отошел в сторонку, чтобы не мешать общей беседе. Небо над ним было уже совершенно темным, полночно-темным. Повернувшись на север, он видел прямо под собой магазин для художников, где теперь подрабатывал Джей-Би (месяц назад он уволился из журнала), а вдалеке – неуклюжую неоновую громаду Эмпайр-Стейт-Билдинг, башня которого горела ярко-голубым светом и напоминала ему о придорожных заправках и о долгой дороге в родительский дом из больницы, где лежал Хемминг, давным-давно.

– Эй, – крикнул он, – холодно! – Он вышел без куртки, как и остальные. – Пошли обратно.

Но когда он подошел к двери на лестничную площадку, то не смог ее открыть. Он попробовал еще раз – ручка не поворачивалась и застряла намертво. Дверь заклинило.

– Блядь! – крикнул он. – Блядь, блядь, блядь!

– Виллем, ты чего? – встревоженно сказал Малкольм: Виллем редко выходил из себя. – Джуд, у тебя есть ключ?

Но у Джуда ключа не было.

– Блядь!

Он не мог сдержаться. Все шло наперекосяк. Он не мог поднять глаза на Джуда. Он винил его, хоть это и было несправедливо. Он винил себя, так было справедливее, но от этого становилось еще хуже.

– У кого телефон с собой?

Но по закону идиотизма ни у кого не оказалось с собой телефона: они остались внизу, в квартире, где были бы и они, если бы не чертов Джей-Би и не чертов Малкольм, который всегда подхватывает самую его глупую, самую недоделанную идею, и не чертов Джуд вдобавок, если б не прошлая ночь, не прошлые девять лет, не все, что он делает с собой, не позволяя себе помочь, если бы не этот вечный страх за него, не вечная беспомощность; если бы не это вот все.

Они покричали, постучали ногами по крыше в надежде, что услышит кто-нибудь внизу, кто-то из трех соседей, с которыми они так до сих пор и не познакомились. Малкольм предложил швырнуть чем-нибудь в окна одного из соседних зданий, но швыряться им было

нечем (даже все бумажники остались внизу, уютно заткнутые в карманы курток), и к тому же ни в одном из окон не горел свет.

– Слушайте, – сказал наконец Джуд, хотя Виллему в этот момент меньше всего хотелось выслушивать Джуда. – У меня есть идея. Спустите меня к пожарному выходу, и я залезу в окно спальни.

Идея была такая дурацкая, что он даже не сразу отреагировал; такое мог бы выдумать Джей-Би, но не Джуд.

– Нет, – отрезал он. – Это бред.

– Почему? – спросил Джей-Би. – По-моему, отличный план.

Пожарный выход был ненадежный, плохо продуманный и более или менее бесполезный – ржавый металлический скелет, прилаженный к фасаду между пятым и третьим этажами как декоративный элемент повышенной уродливости; от крыши до площадки было футов девять, а сама площадка была вдвое уже их гостиной; даже если бы им удалось спустить Джуда на нее в целостности и сохранности, не спровоцировав очередной приступ и не переломав ему ноги, все равно ему бы пришлось перегнуться через край площадки, чтобы дотянуться до окна.

– Даже не думай, – сказал Виллем Джей-Би и потом еще некоторое время препирался с ним, пока на волне отчаяния не осознал, что другого выхода нет. – Но только не Джуд, – сказал он. – Я сам полезу.

– Ты не сумеешь.

– Почему? Там даже не надо вламываться в спальню, я просто залезу в одно из окон в гостиной.

Окна в гостиной были зарешечены, но одного из прутьев не хватало, и Виллем рассудил, что сможет пролезть в образовавшуюся щель, хотя и не без труда. Так или иначе, придется.

– Я закрыл окна, перед тем как мы сюда поднялись, – еле слышно признался Джуд, и Виллем сразу понял, что он их еще и запер, потому что Джуд запирает все, что запирается: двери, окна, шкафы – он делал это автоматически, не думая. Но задвижка на окне в спальне была сломана, и Джуд соорудил некий механизм – сложное, увесистое приспособление из болтов и проволоки, которое, по его словам, служило абсолютно надежным замком.

Преувеличенная настороженность Джуда, его готовность отовсюду ждать беды были для него вечной загадкой: он давно заметил, что Джуд, входя в любое незнакомое помещение, первым делом ищет ближайший выход и становится к нему поближе, – сначала это казалось забавным, а потом как-то перестало, так же, как и его страсть к мерам безопасности. Как-то раз, поздно ночью, они болтали в спальне, и Джуд сказал ему (шепотом, как будто открывал драгоценную тайну), что механизм на окне вообще-то можно открыть снаружи, но как это сделать – знает только он один.

– Почему ты об этом заговорил? – спросил он.

– Потому что, – ответил Джуд, – я думаю, надо нам эту задвижку заменить.

– Но если, кроме тебя, никто не сумеет ее открыть, какая разница?

У них не было лишних денег на слесаря, уж во всяком случае – на починку того, что в починке не нуждается. Они не могли обратиться к управляющему: когда они уже въехали, Анника призналась, что формально не имеет права сдавать им квартиру, но если они будут вести себя прилично, хозяин, скорее всего, их не тронет. Так что они старались вести себя прилично: сами все чинили, сами шпаклевали стены, сами возились с сантехникой.

– На всякий случай, – ответил Джуд. – Просто хочу знать, что мы в безопасности.

– Джуд, – сказал он, – мы в безопасности. Ничего не случится. Никто к нам не вломится. – Джуд молчал, и он со вздохом сдался. – Завтра вызову слесаря.

– Спасибо, Виллем, – сказал Джуд.

Но слесаря он так и не вызвал.

Этот разговор состоялся два месяца назад, а теперь они мерзли на крыше, и в этом окне была их единственная надежда.

– Блядь, блядь! – простонал он. Голова раскалывалась. – Ну скажи мне, как его открыть, и я открою.

– Это очень сложно, – сказал Джуд. Они успели забыть, что Малкольм и Джей-Би стоят здесь же и смотрят на них, причем Джей-Би на удивление тих. – Я не смогу объяснить.

– Конечно, я, по-твоему, полный дебил, но если ты обойдешься без длинных слов, я постараюсь понять, – огрызнулся он.

– Виллем, – удивленно сказал Джуд и запнулся. – Я ничего такого не имел в виду.

– Я знаю, – сказал он. – Прости. Я знаю. – Он глубоко вздохнул. – Даже если попытаться – хотя я считаю, что не надо, – как мы вообще тебя спустим?

Джуд подошел к краю крыши, обнесенной плоским парапетом, не доходящим до колен, и посмотрел через край.

– Я сяду на этот парапет спиной к вам, ровно над пожарным выходом, – сказал он. – Вы с Джей-Би прижметесь по сторонам, ухватите меня за руки и спустите, куда хватит рук, а потом отпустите, и я приземлюсь на площадку.

Он рассмеялся – такой глупый это был план и опасный.

– Ну и как ты потом дотянешься до окна спальни?

Джуд посмотрел на него:

– Придется исходить из того, что я справлюсь.

– Чушь собачья.

Тут вмешался Джей-Би:

– Какие варианты, Виллем? Мы тут сейчас околеем от холода.

Холод и впрямь был пронизывающий; только злость его и согревала.

– Джей-Би, ты вообще, блядь, заметил, что у него рука перевязана?

– Да я в полном порядке, Виллем, – сказал Джуд, прежде чем Джей-Би успел ответить.

Они препирались еще минут десять, потом Джуд решительно подошел к краю.

– Если ты не поможешь, я попрошу Малкольма, – сказал он, хотя Малкольм тоже был сам не свой от страха.

– Я помогу, – сказал он.

И вот они с Джей-Би встали на колени и прислонились к стене, и каждый сжал руку Джуда в ладонях. Он уже так заиндевел, что почти не чувствовал собственных пальцев, обхвативших ладонь Джуда. Он держал его за левую руку и ощущал только слой бинтов. В эту секунду перед его глазами возникло лицо Энди, и его замутило от чувства вины.

Джуд оттолкнулся от края, и у Малкольма вырвался короткий стон, перешедший на излете в писк. Виллем и Джей-Би изогнулись насколько могли, так, что еще немного – и сами перевалились бы через край, и когда Джуд велел отпускать, они его отпустили и увидели, как он с грохотом приземлился на покрытую шифером площадку пожарного выхода.

Джей-Би крикнул «ура», и Виллем едва удержался, чтобы ему не врезать.

– Все в порядке! – крикнул Джуд снизу и помахал забинтованной рукой, как флагом, а потом подошел к самому краю площадки и оседлал перила, чтобы добраться до своего

запорного устройства. Он обхватил один из прутьев перил ногами, но держался неустойчиво, и Виллем видел, что он слегка покачивается, стараясь удержать равновесие, а его занемевшие от холода пальцы едва шевелятся.

– Спустите меня, – велел он Малкольму и Джей-Би, не обращая внимания на кудахтанье Малкольма, и спрыгнул вниз, окликнув Джуда перед самым прыжком, чтобы тот от неожиданности не потерял равновесия.

Прыжок оказался страшнее, а приземление – жестче, чем он предполагал, но он быстро пришел в себя, подошел к Джуду и обхватил его за пояс, ногой зацепившись за прутья перил, чтобы крепче держаться. «Держу», – сказал он Джуду, и тот вытянулся за перила – дальше, чем смог бы без посторонней помощи, – а Виллем держал его так крепко, что чувствовал позвонки Джуда через ткань свитера, чувствовал, как надувается и опадает его живот с каждым вдохом и выдохом, чувствовал, как движение пальцев эхом проходило по мышцам, пока Джуд откручивал и расцеплял проволочки, которыми окно крепилось к раме. А когда дело было сделано, Виллем первый вскарабкался на перила и залез в спальню, а потом высунулся, схватил Джуда за руки и втолкнул его внутрь, осторожно, стараясь не задеть повязку.

Они стояли, тяжело дыша от усталости, и смотрели друг на друга. Несмотря на ветер из открытого окна, в комнате было так восхитительно тепло, что он наконец расслабился и обмяк от облегчения. Они были в безопасности, они спаслись. Джуд тогда широко улыбнулся ему, и он улыбнулся в ответ; будь это Джей-Би, он бы бросился его обнимать от избытка чувств, но Джуд не любил обниматься, и он не сдвинулся с места. Но тут Джуд поднял руку, чтобы вытряхнуть из волос чешуйки ржавчины, и Виллем увидел, что с внутренней стороны запястья по повязке расплывается темно-багровое пятно, и запоздало сообразил, что Джуд дышит так часто не только от напряжения, но и от боли. Он не сводил с Джуда глаз, пока тот тяжело садился на кровать, перевязанной рукой нашаривая твердую поверхность.

Виллем опустился на корточки рядом с ним. Эйфория ушла, уступив место какому-то другому чувству. Он чувствовал, как подкатывают слезы, хотя не мог объяснить почему.

– Джуд... – начал он, но не знал, что еще сказать.

– Ты бы сходил за ними, – сказал Джуд; каждое слово давалось ему с трудом, но он снова улыбнулся Виллему.

– Да хрен с ними, – сказал Виллем, – я с тобой останусь.

И Джуд засмеялся, хотя и морщась от боли, и осторожно лег на бок, и Виллем помог ему положить ноги на кровать. На свитере Джуда виднелись еще чешуйки ржавчины, и Виллем подобрал несколько штук. Он сел на кровать рядом с ним, не зная, с чего начать.

– Джуд, – снова позвал он.

– Ступай, – сказал Джуд и закрыл глаза, все еще улыбаясь, и Виллем нехотя встал, закрыл окно, потушил свет в спальне и вышел, прикрыв за собой дверь, и направился к лестничной клетке, чтобы вызволить Джей-Би и Малкольма, а далеко внизу по лестничному пролету уже разносились трели звонка, оповещающая о прибытии первых гостей.

[Купить полную версию книги](#)